

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р82

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты
работ художников *Гарри Роузленда* и *Гюстана Лоренца Дженсена*

Фото из личного архива *Дины Рубиной*

Рубина, Дина.

Р82 Русская канарейка : трилогия в одном томе / Дина Рубина. —
Москва : Эксмо, 2023. — 960 с.

ISBN 978-5-04-181281-2

Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство — и алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода — блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки.

На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба.

Трилогия «Русская канарейка» — грандиозная сага о любви и о Музыке — в одном томе.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-181281-2

© Д. Рубина, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

Рубина Дина

**РУССКАЯ КАНАРЕЙКА
ТРИЛОГИЯ В ОДНОМ ТОМЕ**

Ответственный редактор *М. Яновская*
Выпускающий редактор *Е. Шукшина*
Художественный редактор *Н. Ярусова*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорртаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасындағы дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамадылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо» www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

ЧИТАЙ
ГОРОД

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
«ЭКСМО-АСТ»

book 24.ru

Дата изготовления / Подписано в печать 28.02.2023.
Формат 60x90^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 60,0.
Тираж экз. Заказ

18+

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!



eksmo.ru

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

[eksmo](#)

[eksmo.ru](#)

ISBN 978-5-04-181281-2



9 785041 812812 >

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru



ЛитРес:
Онлайн-магазин
лучших книг

Посвящается
БОРЕ

Книга первая

Желтухин



ПРОЛОГ

« . . . **Н**ет, знаете, я не сразу понял, что она не в себе. Такая приятная старая дама... Вернее, не старая, что это я! Годы, конечно, были видны: лицо в морщинах и все такое. Но фигурка ее в светлом плаще, по-молодому так перетянута в талии, и этот седой ежик на затылке мальчика-подростка... И глаза: у стариков таких глаз не бывает. В глазах стариков есть что-то черепашьё: медленное смаргивание, тусклая роговица. А у нее были острые черные глаза, и они так требовательно и насмешливо держали тебя под прицелом... Я в детстве такой представлял себе мисс Марпл.

Короче, она вошла, поздоровалась...

И поздоровалась, знаете, так, что видно было: вошла не просто поглазеть и слов на ветер не бросает. Ну, мы с Геной, как обычно, — можем ли чем-то помочь, мадам?

А она нам вдруг по-русски: “Очень даже можете, мальчики. Ищу, — говорит, — подарок внучке. Ей исполнилось восемнадцать, она поступила в университет, на кафедру археологии. Будет заниматься римской армией, ее боевыми колесницами. Так что я намерена в честь этого события подарить моей Владке недорогое изящное украшение”.

Да, я точно помню: она сказала “Владке”. Понимаете, пока мы вместе выбирали-перебирали кулоны, серьги и браслеты — а старая дама так нам понравилась, хотелось, чтоб она осталась довольна, — мы успели вдоволь поболтать. Вернее, разговор так вертелся, что это мы с Геной рассказывали ей, как решились открыть бизнес в Праге и про все трудности и заморочки с местными законами.

Да, вот странно: сейчас понимаю, как ловко она разговор вела; мы с Геной прямо соловьями разливались (очень, очень сердечная дама), а о ней, кроме этой внучки на римской колеснице... нет, ничего больше не припоминаю.

Ну, в конце концов выбрала браслет — красивый дизайн, необычный: гранаты небольшие, но прелестной формы, изогнутые капли сплетаются в двойную прихотливую цепочку. Особенный, трогательный браслетик для тонкого девичьего запястья. Я посоветовал! И уж мы постарались упаковать его стильно. Есть у нас VIP-мешочки: вишневый бархат с золотым тиснением на горловине, розовый такой венчик, шнурки тоже золоченые. Мы их держим для особо дорогих покупок. Эта была не самой дорогой, но Гена подмигнул мне — сделай...

Да, заплатила наличными. Это тоже удивило: обычно у таких изысканных пожилых дам имеются изысканные золотые карточки. Но нам-то, в сущности, все равно, как клиент платит. Мы ведь тоже не первый год в бизнесе, в людях кое-что понимаем. Вырабатывается нюх — что стоит, а чего не стоит у человека спрашивать.

Короче, она попрощалась, а у нас осталось чувство приятной встречи и удачно начатого дня. Есть такие люди, с легкой рукой: найдут, купят за пятьдесят евро правые сережки, а после них ка-ак повалят толстосумы! Так и тут: прошло часа полтора, а мы успели продать пожилой японской паре товару на три штуки свриков, а за ними три молодые немочки купили по кольцу — по одинаковому, вы такое можете себе представить?

Только немочки вышли, открывается дверь, и...

Нет, сначала ее серебристый ежик проплыл за витриной.

У нас окно, оно же витрина — поддела удачи. Мы из-за него это помещение сняли. Недешевое помещение, могли вполтину сэкономить, но из-за окна — я как увидел, говорю: Гена, вот тут мы начинаем. Сами видите: огромное окно в стиле модерн, арка, витражи в частых переплетах... Обратите внимание: основной цвет — алый, пунцовый, а у нас какой товар? У нас ведь гранат, камень благородный, теплый, отзывчивый на свет. И я, как увидал этот витраж да представил полки под ним — как наши гранаты засверкают ему в рифму, озаренные лампочками... В ювелирном деле главное что? Праздник для глаз. И прав оказался: перед нашей витриной люди обязательно останавливаются! А не остановятся, так притормозят — мол, надо бы зайти. И часто заходят на обратном пути. А если уж человек зашел, да если этот человек — женщина...

Так я о чем: у нас прилавок с кассой, видите, так развернут, чтобы витрина в окне и те, кто за окном проходит, как на сцене были видны. Ну и вот: проплыл, значит, ее серебристый ежик, и не успел я подумать, что старая дама возвращается к себе в отель, как открылась дверь, и она вошла. Нет, спутать я никак не мог, вы что — разве такое спутаешь? Это было наваждение повторяющегося сна.

Она поздоровалась, как будто видит нас впервые, и с порога: “Моей внучке исполнилось восемнадцать лет, да еще она в университет по-ступила...” — короче, всю эту байду с археологией, римской армией и римской колесницей... выдает как ни в чем не бывало.

Мы онемели, честно говоря. Если б хоть намек на безумие в ней проглядывал, так ведь нет: черные глаза глядят приветливо, губы в полуулыбке... Абсолютно нормальное спокойное лицо. Ну, первым Гена очнулся, надо отдать ему должное. У Гены мамаша — психиатр с огромным стажем.

“Мадам, — говорит Гена, — мне кажется, вы должны заглянуть в свою сумочку, и вам многое станет ясно. Сдается мне, что подарок внучке вы уже купили и он лежит в таком нарядном вишневом мешочке”.

“Вот как? — удивленно отвечает она. — А вы, молодой человек, — иллюзионист?”

И выкладывает на витрину сумочку... черт, вот у меня перед глазами эта *винтажная* сумочка: черная, шелковая, с застежкой в виде львиной морды. И никакого мешочка в ней нет, хоть ты тресни!

Ну, какие мысли у нас могли возникнуть? Да никаких. У нас вообще крыши поехали. А буквально через секунду громыхнуло и запылало!

...Простите? Нет, потом такое началось — и на улице, и вокруг... И к отелю — там ведь и взорвалась машина с этим иранским туристом, а? — понаехало до черта полиции и “Скорой помощи”. Нет, мы даже и не заметили, куда девалась наша клиентка. Вероятно, испугалась и убежала... Что? Ах да! Вот Гена подсказывает, и спасибо ему, я ведь совсем забыл, а вам вдруг пригодится. В самом начале знакомства старая дама нам посоветовала канарейку завести, для оживления бизнеса. Как вы сказали? Да я и сам удивился: при чем тут канарейка в ювелирном магазине? Это ведь не караван-сарай какой-нибудь. А она говорит: “На Востоке во многих лавках вешают клетку с канарейкой. И чтоб веселей пела, удаляют ей глаза острием раскаленной проволоки”.

Ничего себе — замечание утонченной дамы? Я даже зажмурился: представил страдания бедной птички! А наша “мисс Марпл” при этом так легко рассмеялась...»

Молодой человек, излагавший эту странную историю пожилому господину, что вошел в их магазин минут десять назад, потолокся у витрин и вдруг развернул серьезнейшее служебное удостоверение, игнорировать которое было невозможно, на минуту умолк, пожал плечами и взглянул в окно. Там карминным каскадом блестели под дождем воланы черепичных юбок на пражских крышах, двумя голубыми оконца-

ми мансарды таращился на улицу бокастый приземистый домик, а над ним раскинул мощную крону старый каштан, цветущий множеством сливочных пирамидок, так что казалось — все дерево усеяно мороженым из ближайшей тележки.

Дальше тянулся парк на Кампе — и близость реки, гудки парашодов, запах травы, проросшей меж камнями брусчатки, а также разнокалиберные дружелюбные собаки, спущенные хозяевами с поводков, сообщали всей округе то ленивое, истинно пражское очарование...

...которое так ценила старая дама: и это отрешенное спокойствие, и весенний дождь, и цветущие каштаны на Влтаве.

Испуг не входил в палитру ее душевных переживаний.

Когда у дверей отеля (за которым последние десять минут она наблюдала из окна столь удобно расположенной ювелирной лавки) рванул и пыхнул огнем неприметный «Рено», старая дама просто выскользнула наружу, свернула в ближайший переулок, оставив за собой оцепеневшую площадь, и прогулочным шагом, мимо машин полиции и «Скорой помощи», что, вопя, протиралась к отелю сквозь плотную пробку на дороге, миновала пять кварталов и вошла в вестибюль более чем скромной трехзвездочной гостиницы, где уже был заказан номер на имя Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер.

В затрапезном вестибюле этого скорее пансиона, нежели гостиницы постояльцев тем не менее старались знакомить с культурной жизнью Праги: на стене у лифта висела глянцевая афиша концерта: некий *Leon Ettinger, kontratenor* (белозубая улыбка, вишневая бабочка), исполнял сегодня с филармоническим оркестром несколько номеров из оперы «Милосердие Сципиона» («*La clemenza di Scipione*») Иоганна Христиана Баха (1735–1782). Место: собор Святого Микулаша на Мала-Стране. Начало концерта в 20.00.

Подробно заполнив карточку, с особенным тщанием выписав никому здесь не нужное отчество, старая дама получила у портье добротный ключ с медным брелком на цепочке и поднялась на третий этаж. Ее комната под номером 312 помещалась очень удобно — как раз против лифта. Но, оказавшись перед дверью в свой номер, Ариадна Арнольдовна почему-то не стала ее отпирать, а, свернув влево и дойдя до номера 303 (где уже два дня обитал некий Деметрос Папаконстантину, улыбчивый бизнесмен с Кипра), достала совсем другой ключ и, легко провернув его в замке, вошла и закрыла дверь на цепочку. Сбросив плащ, она уединилась в ванной, где каждый предмет был ей, похоже, отлично знаком, и, первым делом намочив махровое полотенце горя-

чей водой, с силой провела им по правой стороне лица, стащив дряблый мешок под глазом и целую россыпь мелких и крупных морщин. Большое овальное зеркало над умывальником явило безумного арлекина со скорбной половиной старушечьей маски.

Затем, поддев ногтем прозрачную клейкую полоску надо лбом, старая дама совлекла седой скальп с абсолютно голого черепа — замечательной, кстати сказать, формы, — разом преобразившись в египетского жреца из любительской постановки учеников одесской гимназии.

Левая сторона морщинистой личины оползла, как и правая, под напором горячей воды, вследствие чего обнаружилось, что Ариадне Арнольдовне фон (!) Шнеллер неплохо бы побриться.

«А недурно... ежик этот, и старуха чокнутая. Удачная хохма, Барышне понравилось бы. И педики смешные. До восьми еще куча времени, но — распеться...» — подумала...

...подумал, изучая себя в зеркале, молодой человек самого неопределенного — из-за сублильного сложения — возраста: девятнадцать? двадцать семь? тридцать пять? Такие гибкие, как угорь, юноши обычно исполняли женские роли в средневековых бродячих труппах. Возможно, поэтому его часто приглашали петь женские партии в оперных постановках, он бывал в них чрезвычайно органичен. Вообще, музыкальные критики непременно отмечали в рецензиях его пластичность и артистизм — довольно редкие качества у оперных певцов.

И думал он на невообразимой смеси языков, но слова «хохма», «ежику» и «Барышня» мысленно произнес по-русски.

На этом языке он разговаривал со своей взбалмошной, безмозглой и очень любимой матерью. Вот ее-то как раз и звали Владкой.

Впрочем, это целая история...

ЗВЕРОЛОВ

1

• • • *а* по-другому его в семье и не называли. И потому, что многие годы он поставлял животных ташкентскому и алма-атинскому зоопаркам, и потому, что это прозвище так шло всему его жилисто-ловчему облику.

На груди у него спекшимся пряником был оттиснут след верблюжьего копыта, вся спина исполосована когтями снежного барса, а уж сколько раз его змеи кусали — так то и вовсе без счету... Но он оставался могучим и здоровым человеком даже и в семьдесят, когда неожиданно для родных вдруг положил себе умереть, для чего ушел из дому так, как звери уходят умирать, — в одиночестве.

Восьмилетний Илюша эту сцену запомнил, и впоследствии она, очищенная памятью от сумбура восклицаний и сумятицы жестов, обрела лаконичность стремительно завершенной картины: Зверолов просто сменил тапочки на туфли и пошел к дверям. Бабушка кинулась за ним, привалилась спиной к двери и крикнула: «Через мой труп!» Он отодвинул ее и молча вышел.

И еще: когда он умер (заморил себя голодом), бабушка всем рассказывала, какая легкая у него была после смерти голова, добавляя: «Это потому, что он сам умереть захотел — и умер, и не страдал».

Илюша боялся этой детали всю свою жизнь.

* * *

Вообще-то звали его Николай Константинович Каблуков, и родился он в 1896 году в Харькове. Бабушкины братья и сестры (человек чуть ли не десять, и Николай был старшим, а она, Зинаида, — младшей, так что разделяли их лет девятнадцать, но душевно и по судьбе он всю жизнь оставался к ней *ближайшим*) — все родились в разных городах. Трудно

понять, а сейчас уже никого и не спросишь, каким ненасытным ветром гнало их папашу по Российской империи? А ведь гнало, и в хвост и в гриву. И если уж мы о хвосте и о гриве: лишь после распада Советской державы бабушка посмела оголеть кусочек «страшной» семейной тайны: у прадеда, оказывается, был свой конный завод, и именно что в Харькове. «Как к нему лошади шли! — говорила она. — Просто поднимали головы и шли».

На этих словах она каждый раз поднимала голову и — высокая, статная даже в старости, делала широкий шаг, плавно поводя рукой; в этом ее движении чудилась толика лошадиной грации.

— Теперь понятно, откуда у Зверолова страсть к ипподромам! — однажды воскликнул на это Илья. Но бабушка глянула своим знаменитым «иваногрозным» взглядом, и он заткнулся, дабы старуху не огорчить: вот уж была — хранительница семейной чести.

Вполне возможно, что разгулянная прадедова повозка тряслась по городам и весям вперегонки с неумолимым бегом бродяжьей крови: самым дальним известным его предком был цыган с тройной фамилией Прохоров-Марьин-Серегин — видать, двойной ему казалось мало. А Каблуков... да бог знает, откуда она взялась, немудреная эта фамилия (еще и тем оскандаленная, что одна из двух алма-атинских психушек, та, что на одноименной улице, одарила эту фамилию нарицательным смешком: «Ты что, с Каблукова?»).

Возможно, тот же предок откаблучивал и выкаблучивал под гитару так, что летели набойки от каблуков?

В семье, во всяком случае, бытовали опметки никому не известных, да и просто малопристойных песенок, и все их мурлыкали, от мала до стара, с характерным надрывом, не слишком вдаваясь в смысл:

Цыган цыганке говорит:
«У меня давно стоит...
Эх, ды — на столе бутылочка!
Давай выпьем, милочка!»

Было кое-что попрличнее, хотя и на ту же застольную тему:

Ста-а-кан-чи-ки гра-ане-ны-ня
Упа-а-али со-о стола...

Эту Зверолов и сам любил напевать под нос, когда канаречные клетки чистил:

Упа-али и раз-би-ли-ся —
Разби-илась жизнь моя...

Канарейки были его страстью.

По четырем углам столовой от пола до потолка громоздились клетки.

Приятель у него в зоопарке работал, мастер изумительный. Каждая клетка — маленький ажурный дом, и каждая — наособицу: одна — как резная шкатулка, другая — точь-в-точь китайская пагода, третья — собор с витыми башенками. А внутри вся обстановочка, заботливое кропотливое хозяйство для певчих жильцов: «купалка» — воротца, наподобие футбольных, с дном из оргстекла, и поилка — сложно устроенная штука, куда вода поступала из резервуара; менять ее надо было каждое утро.

Но главное — кормушка: деревянный ящичек, куда засыпали пшено с просом. Хранился корм в ситцевом мешочке, перетянута на горловине серебряной тесьмой от новогоднего подарка из раннего Илюшиного детства. Мешочек зеленый, с оранжевыми цветами, и совок к нему привязан, тоже — младенческий лепет...

...брэд, почему это помнится?

И ясно, очень ясно помнится бровастое носатое лицо Зверолова, заштрихованное тонкими прутьями птичьей клетки. Глубоко посаженные черные глаза с выражением требовательного любования, и в каждом — по желтому огоньку скачущей канарейки.

И тибетейка! Он всю жизнь их носил: четырехгранные чустские «душпи» — твердые коробочки, с простеганными белой ниткой перцами-каламшир, самаркандские «шилтадузи», бухарские золотошвейные... Самые разные тибетейки, любовно вышитые женской рукой. Вокруг него всегда вилось множество женщин.

Он бегло говорил по-узбекски и по-казахски; если брался готовить плов, от чада нечем было дышать, и морковка прилипла к потолку, но получалось вкусно. Чай пил только из самовара и не меньше семи эмалированных кружек за вечер — чашек не признавал. Если бывал в хорошем настроении, много шутил, смеялся громоподобно и заливисто, со смешными всхлипами и канареечной фистулой на высоких нотах; вечно сыпал какими-то никому не известными прибаутками: «Деревня Юшта! Вот глушь-то!» — и при каждом удобном случае, будто фокусник, извлекал из памяти подходящий огрызок стихотворения, изобретательно меняя по ходу рифму, если вдруг слово забудется или по смыслу не личит.

Илюша лазал по Зверолову, как по дереву.

Гораздо позже, узнав о нем кое-что еще, Илья припоминал отдельные жесты, взгляды и слова, запоздало наделяя его личность незатоптанными, тлеющими и в поздние годы страстями.

Вообще, было время, когда он много думал о Зверолове, раскапывая какие-то замороченные простодушной детской памятью воспомина-

ния. Например, как из пашлычных палочек тот плел корзинки для канареечных гнезд.

Палочки они вместе собирали в траве у соседней пашлычной, потом долго мыли их под колонкой во дворе, соскабливая затвердевший воск давнего жира. После чего великанские пальцы Зверолова пускались в замысловатый танец, выплетая глубокие корзинки.

— Разве гнезда такие — как короб? — спрашивал Илюша, внимательно следя за ловким большим пальцем, что без усилия сгибал алюминиевое копые и легко продевал его под уже сплетенный каркас.

— Иначе яички выпадут, — серьезно пояснял Зверолов; всегда подробно растолковывал — что, как и зачем делает.

На готовый каркас накручивались кусочки верблюжьей шерсти («чтоб мальцы не замерзли») — а если шерсти не было, выковыривался из старого, еще военных лет ватника желтый комковатый ватин. Ну, а поверх всего вязались полоски цветной материи — тут уже бабушка доставала щедрой рукой лоскуты из своего заветного портновского тючка. И гнезда выходили праздничные — ситцевые, сатиновые, шелковые, — очень цветные. А дальше, говорил Зверолов, птичья забота. И птицы «наводили уют»: устилали гнезда перышками, кусочками бумаги, выискивали клубки бабушкиных «цыганских» волос, вычесанных поутру и случайно закатившихся под стул...

— Поэзия семейной жизни... — умиленно вздыхал Зверолов.

Яички получались очень милые, голубовато-рябенькие; их можно было рассматривать, только если самка выбиралась из гнезда, но трогать запрещалось. А вот птенцы выклевывались страшные, похожие на Кашея Бессмертного: синеватые, лысые, с огромными клювами и водянистыми выпуклыми глазами. Скоро они покрывались пухом, но страшными оставались еще долго: новорожденные драконы. Иногда выпадали из гнезда: «Эта самочка неопытная, вишь, сама их роняет», — а бывало, какой-нибудь помирал, и Илюша, заметив окоченевший трупик на полу клетки, отворачивался и зажмуривался, чтобы не видеть белесой пленки на закатившихся глазах. Зато подросших птенцов ему разрешалось кормить. Зверолов разминал яичный желток, смешивал с каплей воды, поддевал кашпицу спичкой и точным движением вдвигал ее птенцу прямо в разинутый клюв. Все птенцы почему-то норовили купаться в поилках, и Зверолов объяснял Илюше, как их надо учить, откуда пить, а где купаться. Любил качать в ладонях; показывал — как брать, чтоб, не дай бог, не причинить птахе боли.

Но все эти ясельные заботы меркли перед волшебным утренним мигом, когда Зверолов — уже проснувшийся, бодрый, ранне-трубный

(он сморкался в большой клетчатый платок так, что бабушка затыкала уши и восклицала всегда одно и то же: «Груба иерихонская!» — за что немедленно получала в ответ: «Ослица Валаамова!») — выпускал всех канареек из клеток полетать. И воздух становился *джунглевым*: плотным, переливчатым, желто-зеленым, веерным... и немного опасным; а Зверолов стоял посреди комнаты — высоченный, прямо Колосс Родосский (это опять бабушка) — и нежным воркотливым басом с внезапным фистульным писком вел с птицами беседы: щелкал языком, цокал, губами вытворял такое, что Илюша хохотал, как безумный.

И еще утренний номер был: Зверолов смешно поил птиц изо рта: набирал в рот воды, принимался «гулить и горлить», чтоб их привлечь. И они слетались к его губам и пили, младенчески закидывая голову. Так весной птицы слетаются к могучему дереву с высоко прибитым скворечником. Да и сам он, с закинутой головой, становился похож на гигантского птенца какого-нибудь птеродактиля. Бабушке это не нравилось, она сердилась и повторяла, что птицы — переносчики опасных заболеваний. А он лишь смеялся.

Все птицы пели.

Илюша различал их по голосам, любил смотреть, как дрожит у канарейки горлышко на особо громких трелях. Иногда Зверолов разрешал положить палец на поющее горло — пальцем слушать пульсирующую россыпь. А петь учил их сам. Было у него два способа: собственное громкое пение русских романсов (птицы подхватывали мелодию и подпевали) — и пластинки с голосами птиц. Пластинок было четыре: аспидно-черные, с бегущим по кругу кинжальным про сверком, с розовыми и желтыми сердцевинами, где мелкими буквами указывалось, какие птицы поют: синицы, славки, дрозды.

— Из чего состоит ценная песня благородного певца? — вопрошал Зверолов. Мгновение держал паузу, после чего бережно ставил пластинку на проигрыватель и осторожно пускал иглу в ее зачарованное кружение. Из далекой тишины голубых холмов рождались и звонкими ручьями приплывали, потренькивая по камушкам, вычиркивая-вызывающая и мелко-серебристо роясь в воздухе, птичьи голоса.

Илюша наперечет знал колена песни русской канарейки; умел уже отличить «светлую овсянку» от «горной», «подъемной» — когда, начиная петь в низком регистре, постепенно, будто в гору поднимаясь, певец вытягивает песню наверх, на запредельные трели с замирающей сладостью звука (а ты боишься, не оборвет ли) и долго держит трепетное «и-и-и-и», переводя его то на «ю-ю-ю-ю», то на «у-у-у-у», а

после короткого вдоха выдыхает полный и круглый звук («Кнорру пустил!» — шепотом замечал Зверолов) — и заканчивает низкими, нежно-вопросительными свистками.

На ночь клетки покрывали платками и шалями, и сразу в комнате становилось очень-очень тихо. Последней жизнь шорохов замирала не в клетках, а в огромном шкафу, где обитал...

Вот... теперь, хочешь не хочешь, придется вспомнить о Желтухине Втором и, главное, о дубовой резной исповедалне, что служила ему домом.

* * *

В столовой, помимо клеток по углам, стояли тахта и круглый обеденный стол со стульями, а также большая зеленая кадка, где росла финиковая пальма, выращенная бабушкой из косточки. В сущности, эта светлая комната выглядела бы вполне просторно (бабушка не любила «тромоздить барахло»), если б не странное монументальное сооружение у «слепой» стены, похожее на орган без труб или надгробие епископа.

Это была исповедалня, выброшенная из ташкентского костела за ненадобностью, когда тот перестраивали — то ли в овощехранилище, то ли еще в какой-то склад. Бабушка утверждала, что Зверолов (он и жил тогда в Ташкенте) притащил к себе исповедалню на закорках. Это, положим, выглядело подвигом Геракла — без грузовика и пары грузчиков там вряд ли обошлось, — но уж как-то доставил, ибо сразу решил, что сей таинственный грот, хранящий отзвуки грехов и страстей человеческих, должен стать обителью Желтухина Второго, его любимого кенаря.

— Почему Второй? — спросил однажды Илюша. — И где же Первый?

— Первый в бозе почил, — вздохнул Зверолов, и мальчик представил эту самую «бозю» в виде той же исповедални, только лежащей на боку и похожей на деревянный лакированный саркофаг, где лакированным клювом вверх, пугающе неподвижный, как мумия фараона, *почил* Желтухин Первый.

Все дело в том, что Желтухин Второй был — в отличие от остальных зеленых канареек овсянистого напева — желтым и ослепительно гениальным. Свою песню инкрустировал каскадом вставных колен. Пел с открытым клювом, в манере сдержанной страсти, виртуозно меняя тональность и силу звука, «балуясь»: то проходя низами, то подни-

мая тон, то сводя звук к обморочному зуммеру, трепещущим горлом припадая к тончайшей тишине. Не было случая, чтоб оскорбил он свое искусство акустической грубостью или вдруг громче крикнул, чем это было уместно. Зверолов уверял, что на любом мировом конкурсе, ежели бы на такой попасть, Желтухин Второй обязательно отхватил бы первый приз.

Как сладко было просыпаться утром под его песню...

Начинал он синичкой-московкой: *«Стыдись-стыдись-ты! Стыдись-стыдись-ты!»* — словно укорял Илюшу-засону. И, как бы не веря в то, что мальчик сейчас же вскочит, на ироническом выдохе проборматывал: *«Скептически-скептически... скептически-скептически...»*

О, Илюша мог часами толмачить *разговоры-канары* птичьего народа. Желтухин, когда еще к песне не приступал, выщелкивал такие речи! *«Нетеберасказывать!» «Незадавайвопросов!»* И после секундного размышления, решительно и четко: *«Предпринял, предпринял!»* — затем следовала попискивающая нить многоточия и: *«Воттеперьуходи... воттеперьуходи-и-и...»*

А дальше гневным стрижом: *«Щассввыстрелю!!! Щассввыстрелю!!!»*

И наконец плавно переходил на россыпи...

Из мечтательного далека, из звукового небытия вытягивал и вил нежную, еле уловимую «червячную» россыпь: стрекот кузнечика в летний зной. Хотя коронной его была редкая в пении канарейки россыпь *серебристая*: витая блестящая нить, на слух — разноцветная, желто-зеленая... А там уже катились «смеющиеся овсянки», с их потешными «хи-хи-хи-хи» да «ха-ха-ха-ха», подстегнутыми увертливой скороговоркой флейты. И вдруг выворачивал он на звонкие открытые бубенцы, и те удалялись и приближались опять, будто старинная почтовая тройка кружила в поисках тракта... А заканчивал «отбоями»: «Дон-дон! Цон-цон!.. Дин-дин!» — колокольцы в морозном воздухе зимнего утра.

Вообще, изобретательность его композиторского дара не знала границ. Одну и ту же тему он варьировал, перерабатывая ее по ходу исполнения, с филигранной точностью и грациозным изяществом вплетая в нужное колено.

Но бывало, в конце длинной и пылкой арии брал крошечную паузу и вдруг на одном дыхании выдавал «Стаканчики граненые», хитро кося на хозяина черным своим глазком-бусиной, отчего Зверолов хохотал и плакал одновременно, сморкаясь в платок, качая головой и повторяя:

— Ах ты ж, боже мой, какой артист! Сколько иронии, блеска, страсти! И утверждал, что это — самый безгрешный голос, когда-либо звучавший в исповедальне, «сей обители грехов и печалей».

2

Дом стоял на окраине Алма-Аты, у самых гор, в апортовых садах Института плодоводства и виноградарства, где когда-то работала бабушка Зинаида Константиновна. Чуть ли не за калиткой начинался виноградник — бетонные столбики с натянутой между ними проволокой, увитой мозолистой шершавой лозой.

Справа тянулся бетонный забор за шеренгой серебристых тополей, раскидистых и светлых, с большими, в две женские ладони, плескучими листьями; за ним — дощатая беленая помойка, над которой в летние дни бушевала беспощадная хлорная вонь. А дальше слева, и справа, и вокруг простирались сады, и уж они были безбрежны и благоуханны.

Путь до нижнего края занимал целый час, а если пойти направо, вдоль гор, — еще часа полтора. Они просто назывались так: апортовые сады, но, помимо яблонь, в огромных этих угодах были малиновые, смородиновые и клубничные поля, несметное количество дикой ежевики, терна и барбариса, карагачевые и тополиные аллеи, когда-то высаженные как снегозащитные полосы, и богатейшие россыпи грибов — шампиньонов, дождевиков, синих степных, а под карагачами — голубоватых вешенок.

Еще была поляна, обсаженная пирамидальными, с недовольным вороньем в кронах, прямыми и темными тополями, где Илюша играл с одноклассниками в футбол, а после — вспотевший, возбужденный, ошпаренный солнцем — бежал купаться «в поливные краны»: вокруг них всегда собиралось небольшое озерцо ледяной даже летом воды.

Вечером, часам к девяти, налетал ветер с гор, властно вплетая сильные плодотворящие струи в любовные испарения садов, будоражил и нежил листву.

И всегда висел над садами, то потрескивая и вибрируя от зноя, то разбухая — особенно весной после дождя, — терпкий слоистый запах, вернее, пестрый ковер из неописуемых горных запахов: шалфея, душицы, лаванды, сладковатого красного клевера и лесных фиалок, что росли в укромных уголках сада.

К травным и древесным примешивались острые запахи животных — лисы, ежа, каких-то полевых грызунов; понизу стлались вязкий холодный запах тины и сырой дух грибницы и влажной земли.

И запах полыни... Ее много вокруг было, и в садах, и возле дома: красной, белой, серебристой... Бабушка ее любила, и каждую весну полынные веники развешивались на стенах кухни и веранды.

Но главное, по всей округе воздух закипал всепобеждающим ароматом яблок сорта апорт.

Апорт называли символом Алма-Аты: яблоко весило чуть не килограмм. Гигантские, круглые пахучие плоды, красно-полосатые от малинового до бордового, с зеленоватой кисло-сладкой сердцевинной — они до февраля могли храниться просто в серванте. Бабушка рассказывала, что раньше их продавали с телег, высланных сеном, — горы пунцовых яблок, покрытых тонким слоем воска.

На вокзалах апорт ведрами выносили к поездам, ведрами продавали на подходе к базару; золотисто-малиновыми курганами пузатились прилавки фруктовых рядов на Зеленом базаре.

На улице Абая, где яблони росли вдоль арыка, роняя в воду плоды, а те плыли, плыли, стремительно кружась, как поплавки, и скапливались у коллектора, можно было просто опустить руку в холодную воду и выудить самое красное, самое пахучее и уже мытое яблоко: бери и надкусывай, успевай лишь отирать ладонью сладкий сок с подбородка.

А на складе Института плодоводства (был это просто гигантский земляной ангар, одна лишь крыша над поверхностью земли) работала тетя Тамара, которой, по тайному мнению Илюши, очень эта работа подходила. Мужеподобная, почти лысая — так что в полутьме подвала ее череп, склоненный над горой яблок, и сам напоминал розоватый, особо уродившийся апорт, — она выуживала плоды из круглобких курганов, сортировала и укладывала в опилки, в ящики, а некоторых красавцев — в вощеную бумагу и в отдельные коробки. Затем рабочие вытаскивали их наверх, и полные алого золота, пурпура и янтаря коробки стояли во дворе на снегу в ожидании грузовиков. Куда и к кому они в конце концов приплывали, райские эти плоды?

Бабушка — она занималась и апортом тоже — однажды объяснила, что сорт этот — воронежский; просто в тамошнем климате яблоки не разрастались столь чудесным образом, как здесь, в предгорьях Алма-Аты. И добавила, что срок жизни любого сорта яблок — лет сорок, после чего им снова нужно заниматься: се-лек-ци-они-ро-вать. А зачем, думал Илюша: сорок лет — это ж какая даль незаглядная! Это ж коммунизм давно будет, не то что — яблоки.

В Институте бабушка уже не работала, но продолжала его «курировать»: приходила в свою лабораторию виноделия, обсуждала с уче-

никами и бывшими коллегами результаты опытов, проверяла чистоту химической посуды. Сады, виноградник, поля, снегозащитные аллеи и, кажется, даже дощатую помойку она воспринимала как свое хозяйство: строго расспрашивала сторожей на лошадях, осматривала виноград и яблони, следила за тем, как проходит полив.

Илюша с раннего детства сопровождал бабушку в ее «инспекциях». Привык послушно вкладывать руку в ловушку сильной и жесткой бабушкиной руки — почему-то она любила всегда чувствовать руку мальчика у себя в ладони; привык слушать бабушкины объяснения всему вокруг. Годам к шести знал от нее много неожиданных, необычных и «взрослых» явлений природы и мира.

Бывало, остановится она внезапно и спросит:

— Знаешь, как найти Гнилой угол?

— Гни-лой? — удивляется Илюша. — А где он?

— Да на небе, — говорит бабушка. — Такое место на небе, на северо-западе. Мы в полукольце гор, понимаешь? Получается, ветер падает к нам только с северо-запада. Там и тучи скапливаются, оттуда и все дожди приходят. Если хочешь узнать, что за погода будет через час-другой, — ищи глазами Гнилой угол... Во-о-он он, над школой...

Все улицы в округе, носящей странное название Экспериментальная база, были застроены неказистыми частными домиками, и по каждой можно было прийти к школе. За школой — тоже неказистой, типовой трехэтажной, с футбольным полем и сарайным зданием мастерских — протекала речка, Большая Алматинка; за ней тянулись пригороды и поселки. А дальше холмились предгорья, заселенные кладбищами и дачами. С них начинался подъем в настоящие горы, в Алатау. Почему-то назывались эти предгорья по-базарному, «прилавками», и каждой весной Илюша с бабушкой ходили туда за подснежниками.

Он поднимал голову и вглядывался в небо, где вообще не было никаких углов, одни лишь громады опалово-белых облаков. Они сталкивались друг с другом, внедряясь в боевые ряды противника. Белая конница настигала врага и валила, опрокидывая колесницы, беспшумно взрываясь клубами небесных петард. А из свалки выползал длинный кудрявохребетный дракон с надорванным брюхом, истекающим сизо-черным дымом, и медленно умирал, волоча за собой темные клочья тлеющих на закате внутренностей...

* * *

За садом смотрел Абдурашитов — тощий уйгур с узкими желтыми глазами на смуглом лице без малейшего намека на растительность.

Он бы выглядел и совсем молодым, если б не клетчатая от морщин длинная шея. Ходил враскачку на кривоватых ногах, руки носил вдоль туловища, не размахивая, и казалось, что выросли они у него лишь затем, чтоб поводья держать. Когда сидел на лошади, казался очень ловким; спустившись с коня, запутывался в собственной походке. Был обременен большой девчачьей семьей — аж девять дочерей, рожденных, как говорила бабушка, «в затылочек друг другу». Так в весенней капели одна за другой падают большие неторопливые капли: все были крупными, волоокими задумчивыми девочками.

Пятая, Аида, лет через двадцать выкормит своим молоком новорожденную дочь Ильи, осиротевшую через час после рождения.

Со времен «инспекций» осталась фотография — та, что и сейчас смотрит с полки бабушкиного бюро: Илюша с бабушкой стоят, как плывут, в ажурной тени еще голых струнных тополей. Она крепко держит внука за руку, то ли спасаясь от качки в волнах света, то ли боясь, что мальчик деру даст, а над ними мачтой возвышается Абдурашитов на лошади. На фото не видать, что лошадь — рыжая, с черной гривой (бабушка говорила — саврасая), такая же блекло-рыжая, как галифе на стороже. И судя по его одежде, по мягким азиатским сапогам, овчинной душегрейке поверх клетчатой рубахи, по казахской войлочной шапке, это ранняя весна; зимой он носил ватник и кирзовые сапоги.

А снимал, вероятно, Разумович — «богато разносторонний человек».

Вслед за бабушкой Илюша называл Разумовича «учеником», хотя неясно было, где и когда тот у нее учился. Он *принял лабораторию* после ухода бабушки на пенсию и считался другом семьи. Нервный, преданный, непременно с кем-нибудь выяснял отношения, говорил пылкими рваными фразами, пересыпая речь непонятным словом «конеццитаты»:

— Я, Зинанда Константиновна, не понимаю! Зачем ждать, пока крыша провалится! Пришлю в среду Николая! Он покроет жестью вашу веранду! Конеццитаты! — Или: — Лаборанты распустились: Нина уходит в декрет! Сема непременно должен к матери ехать! Работать некому! Конеццитаты!

Разумович часто их навещал, но приходил старался в отсутствие Зверолова. По словам бабушки, они «почему-то находились в конфронтации». А тут и гадать незачем — все ж и так ясно: Разумович был оголтелым меломаном, сам играл на флейте, вечно где-то что-то «репетировал» и время от времени выступал на концертах каких-то любительских ансамблей. Появляясь у них с бабушкой после очередной

воскресной репетиции, Разумович даже не пытался раскрыть футляр, не то чтоб инструмент из него извлечь.

Виной всему были канарейки: Зверолов пуще глаза берег их от «нежелательных влияний». Особенно Желтухина Второго — тот вообще сидел в своей исповедальне в настоящем карантине, потому что был для остальных самцов *учителем*, «*старкой*». К нему подсаживали молодых кенарей — учиться настоящей песне. Так что флейта Разумовича была самым что ни на есть «нежелательным влиянием».

— Еще чего! — заявлял Зверолов. — Вначале флейта, потом телефон зазвонит, потом керосинчик запоеет, а потом мы до крика ишака докатимся. — И если бабушка, сурово поджимая губы, пыталась выступить в защиту «ученика» и его «разносторонних интересов», особенно ненаглядной флейты, Зверолов вытягивал указательный палец в сторону исповедальни и громко декламировал:

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоём ободу!..

Однажды Илюша слышал, как Разумович пробормотал себе под нос, пожимая плечами, что, мол, не дом это, а «сухая канареечная чума, конецицитаты!..».

* * *

Там же, в садах, выпасала своих коз старая казашка баба Марья — маленькая, в накрученном на голову белом платке, в бархатной жилетке и длинной юбке, с большим, круглым, очень морщинистым лицом. Ее диковинный русский язык Илюше был непонятен и смешон, но бабушка понимала все и очень нежно с ней разговаривала. Иногда вполголоса упоминала, что Марьяин муж, с тех пор как вернулся с войны и из лагерей, бьет ее смертным боем.

— За что? — тревожно спрашивал Илюша, оглядываясь на приветливо кивающую вслед им старуху: отойдешь на тыщу километров, обернешься, — а она все кивает и кивает.

— Контузия, — коротко бросала бабушка.

С бабой Марьей, вернее, с ее стадом, был связан дикий случай, тот, что потом бабушка именовала «скачками на козле», а Илюша сердился, краснел и таращил глаза, чтобы влага стыда и обиды не выкатилась на щеки. Это Зверолов уговорил Илюшу покататься на козле. Уверяя, что в древней Элладе (они как раз вечерами читали «Легенды и мифы

Древней Греции») на олимпиадах был такой вид соревнований. И, продолжая уговаривать заробевшего мальчика, поднял его под мышки, пронес канарейкой по воздуху и опустил на козла. Тот постоял, разбежался, резко наклонил голову и скинул Илюшу под откос, в валуны, оставшиеся от давнего селя. Так в них бедный Илюша и застрял — головой вниз. Громко причитая и охая смущенным басом, Зверолов его вытащил за ноги, и долго они обмывали у поливного крана ссадины и кровоподтеки. А потом очень долго шли домой через сады — молча, как чужие. Только перед самым крыльцом Зверолов попросил ничего не говорить «нашей грозной хозяйке». И Илюша кивнул — конечно же, ничего-ничего. Хотя было очень больно и хотелось пожаловаться. Но он Зверолова не выдал, а скандал — грандиозный! — все равно состоялся по полной домашней программе: темперамента и склонности к жестам и драматическим сценам (ау, цыганский предок Прохоров-Марьин-Серегин!) в семействе было с избытком.

* * *

Тут надо наконец пояснить, что Зверолов не обитал у сестры постоянно, хотя и жилал подолгу: последняя женщина, к которой его прибило, занудная старая учительница Елена Матвеевна, занимавшая комнату в коммуналке где-то в районе Зеленого базара, в конце концов выгнала его вместе со всеми канарейками. Да и то: канареек было штук двадцать, не помещались они в тесной комнате. А у сестры Зинаиды все уживались естественно и уютно: канарейки, ужи-ежи, величественная исповедальня, а в ней — Желтухин Второй с наследной семейной песенкой про «стаканчики граненые» и с грезами о тезде, что давно *в бозе почил*.

А еще раньше Зверолов жил в Ташкенте, и это тоже отдельная глава его одиссен, смешно и не без злорадства пересказываемая бабушкой. Якобы однажды он там обнаружил пустующий участок на берегу Салара и незаконно его занял. («Простодушно!» — поправлял Зверолов; «Незаконно!» — упрямо уточняла бабушка. Илюша в этом месте ее рассказа всегда представлял Зверолова на берегу *пустынных волн* Салара, в позе Петра, с рукой простертой: «Здесь будет город заложен назло надменному соседу!»)

На незаконном участке он простодушно построил дом, вырыл бассейн и напустил в него золотых рыбок, которые выросли до размера окуней; высадил чуть ли не пятьдесят сортов гладиолусов — от белоснежных до почти черных, цвета жженой пробки — и установил переносной туалет. («Простодушно?» — «Конечно, простодушно, мой ангел!») Еще одна навязчивая страсть, добавляла бабушка: ему поче-

му-то нравилось этот туалет переставлять. Так и носился по участку с переносным туалетом.

— В конце концов, — подытоживала она, делая последнюю стежку, склоняя к шпильке чернокошую корону и перекусывая нитку, — в конце концов земля понадобилась горсовету, и дом отобрали, а наш герой в свои шестьдесят пять лет остался бездомным.

Ну и отлично, втайне полагал Илюша, а то совсем было бы скучно жить. Зверолов же со своими канарейками, прибаутками, песенками, громоподобными утрами, внезапными исчезновениями и столь же внезапными появлениями очень украшал жизнь их, как говорил он, «сильно усеченного семейства».

Бабушка сердилась, когда это слышала. Тема усеченного семейства была запретной. Например, нельзя было спрашивать о смерти Илюшиных родителей — вернее, об их отсутствии. (Благопристойную смерть родителей в авиакатастрофе Илюша открыл в своих мечтаниях случайно, просто однажды натолкнулся на нее: ведь у каждого человека есть мама и папа? ну, хотя бы одна мама? ну, должны же они были куда-то деться, если сейчас их нет? — и постепенно смерть родителей проросла и отвердела страшными и втайне желанными деталями.)

На деле бабушка просто запрещала ему задавать любые вопросы на эту тему. Сухощавая, опрятная, всегда пахнувшая какой-то лавандовой водой, которую сама и настаивала, с гладко выплетенной и выложенной надо лбом косой, черной даже в старости, была она человеком властным, прямолинейным и без воображения. Всякие детские «почему» и прочие «несдержанности» угрюмо игнорировала или обрывала простым кратким «помолчи!». Трудновато с ней приходилось. Бывало, проснувшись в плохом настроении, не разговаривала с внуком до полудня, так что он озадаченно пытался припомнить, не натворил ли чего. Илюша был крепеньким вихрастым мальчиком с дивными шоколадными глазами, тихо излучавшими мудрую кротость. Бабушку он не то что боялся, но предпочитал не будоражить этот вулкан, по собственному опыту зная силу его извержений.

...Итак, они умерли. Это хорошо. Спокойно. Туманных родителей он по умолчанию похоронил. Гибель матери хотелось бы как-то расцветить; мать представлялась мальчику полной противоположностью бабушке: нежно-воздушной полноватой блондинкой с розовым маникюром на нежных пальцах. Да, что-нибудь такое. Но все натякалось на тайну, на отсутствие деталей. А что можно выдумать про человека, о котором не знаешь ничего — ни цвета волос или глаз, ни как она училась, ни даже любила ли кататься на коньках, как он, Илюша, любит?

Однажды он слышал утреннюю перебранку бабушки со Звероловом, но было то на пробуждении, на переходе в яркую россыпь канареечного пения, так что все могло оказаться и продолжением сна. Его и разбудило бабушкино отрывистое, на взрыде: «...его мать!!!» — и еще какое-то сложное слово, связанное почему-то с кашей, с манной крупой. Что-то... «манка»? «Нимфо-манка»? И в ответ ей Зверолов:

— Ты безумна, Зинаида, бог тебя накажет!

— Он меня уже наказал!

А однажды — это было в первом классе, когда бабушка забрала его из школы и они шли к автобусной остановке, — Илюша заметил высокую, очень худую тетеньку, шедшую вровень с ними по другой стороне улицы. Заметил, потому что, слегка их обгоняя, она неотрывно смотрела на мальчика и раза три даже натыкалась на прохожих.

А когда Илюша обратил бабушкино внимание на странную тетеньку, бабушка обернулась и, больно вцепившись ему в руку (он почувствовал, как ее передернуло), прошипела:

— Не смей оборачиваться! Не смотри на нее!

— А кто это? — испуганно спросил мальчик. — Ты ее знаешь, ба?

— По-мол-чи! — как обычно, отчеканила бабушка и спустя минуту буркнула: — Какая-нибудь сумасшедшая...

Ну, сумасшедших-то Илюша любил. Встреча с безумцами всегда была — нечаянный театр. Две его знакомые чокнутые старушки ездили в троллейбусе номер девять — от проспекта Ленина до кинотеатра «Целинный».

Он никогда не видел их обеих одновременно, они словно принадлежали разным мирам и существовали в разных пространствах и временах года. Одна была летняя, другая — зимняя.

Летняя — русская, в мелких рыжих кудряшках, поверх которых, захватски кренясь, сидела нежно-бирюзовая грязная шляпка с цветами и ягодами. Весь ее облик — мятое личико, грубо зашпаклеванное застарелым потрескавшимся гримом, кокетливая блузка с рюшами на большой груди, цветастая юбка фасона «солнце-клеп» и обутые в полурасправленные туфельки некогда стройные ноги в страшных венах, будто оплетенные синими косами, — излучал тем не менее подлинно артистическое вдохновение.

Она входила в переднюю дверь, бодро подкидывая юбку узловатыми коленями, чинно брала билет и, обернувшись лицом к салону, принималась тоненьким голосом выводить что-то из области романсов.

Порой Илюша с удовольствием узнавал кое-что из домашнего репертуара Зверолова.

Вот это, например:

— Опустел наш сад, вас давно уж нет... Я брожу один, весь измученный. И нево-о-о-льные слезы капают пред увядшим кустом хризантэ-э-э-эм!

А вот это еще лучше:

— Не-е-е-т! не пурпурный руби-и-ин, не аметист лило-овый, не на-а-аглой белизной сверкающий алмаз! не подошли бы так к лучистости суровой холодных ваших глаз!.. — Тут небольшая лукавая пауза, и вначале медленно и врастяжку, затем все быстрее, завихряясь низким контральто: — ...Как этот то-онко ограненный, хранящий тайну темных руд! ничьим огнем не опаленный! в ништо на свете не влюбленный!.. — и, страстно откинув мятые кудряшки с иссеченного морщинами лба: — ...Темно-зелё-о-о-оный и-и-и-изумруд!..

Остановки через три-четыре выходила.

Другая, зимняя старуха, была казашкой, кряжистой, сильной и — так казалось мальчику — глубже погруженной в туман безумия. Но-сила мужскую шляпу «без крыши», надвинутую на бледный широкий лоб, из дыры в низкой тулье выбивались два-три кустика жидких волос. Фантастический шарф возлежал у нее на плечах мужского полупальто, свисая чуть не до полу — длинный, широкий, необычайной пестроты, весь связанный из остатков ниток. Она ловила пестрый хвост шарфа руками в митенках (короткие сизые пальцы как-то непристойно из них топорщились) и закидывала за спину, поцелуйно вытягивая пунцовые, сильно преувеличенные карандашом губы. Но самым интригующим во внешности были две пары бровей: одни — родные, жиденькие, разрушенные безжалостной природой, другие — домиком над ними, нарисованные густой сурьмой. Эта запасная пара бровей почему-то пугала — словно грозный посланец явился. Но от кого? И — к кому?

Зимняя старушка читала отрывки длинных монологов. Илюша, конечно, не мог еще опознать их происхождение. Но однажды она вошла в троллейбус, когда Илюша ехал вдвоем со Звероловом, и тот, прослушав весь репертуар старухи, выданный прерывистым низким голосом, задумчиво проговорил:

— Во шпарит! Шекспир, Чехов, Мериме. А толку что, ежели мозги набекрень...

Когда она вышла, пробормотал себе под нос:

— И шестибровый серафим на перепутье нам явился.

Странным образом обе эти старухи, и летняя, и зимняя, напоминали Илюше канареек, то ли плохо обученных, то ли вдруг «заяривших» от неправильного обращения, но только уже безнадежно бракованных и никому не нужных.

3

Поскольку все детство Илюша сопровождал бабушку в ее «инспекциях» по апортовым садам, он тоже считал сады своими.

У него были тут особо любимые места — *свои* деревья, им посаженные (вроде выросшего из прутика желто-оранжевого куста ивы, за который Илюша всегда тревожился: по округе шлялись мужики-душегубы, что корзины плели; они безжалостно нарезали прутья даже у самых молодых деревьев); были *свои* дупла, пещеры, пни и коряги; «берлога» — яма, вырытая под огромным, с козырьком-крышей гранитным валуном, — да и сами прогретые солнцем замшело-крапчатые валуны, с накипью лишайников и ракушек, что намертво вросли в каменное тело за миллионы лет.

Это были его рыцарские владения: поместья, замки, леса для охоты, и он буйно, с гиканьем и свистом, властвовал над ними, но лишь когда играл один; вообще, он рос застенчивым мальчиком.

Особо любимой была «индейская пирога» — продолговатый, расколовшийся надвое огромный камень: он плыл в высокой заросли полыни к крепостной стене замка — кирпичному забору территории Горводоканала.

К «пирогам» они, гуляя в садах, приходили со Звероловом — слушать соловьев и наблюдать муравейники и осинные гнезда. Часто встречали там Земфиру — старшую и самую красивую дочь Абдурашитова; заметив их, та каменела широким прекрасным лицом, опускала пухлые веки длинных сердоликовых глаз и некоторое время шла за ними на приличном расстоянии. Илюше казалось, Зверолов повышал голос, чтобы и Земфира слышала про то, как сидел он в засаде на снежного барса (тогда еще они встречались высоко в горах). Вот какой наш Зверолов щедрый, думал Илюша, не жалко ему, чтобы каждый встречный слушал *наши* потрясающие истории. (То, что они так часто встречали тут Земфиру, совсем не казалось мальчику странным: за дочерьми Абдурашитова он готов был признать наследное право на сады.)

Именно здесь Зверолов научил его чувствовать «воздушный пирога» — загадочное и чудесное метеорологическое явление: вечерами в садах теплый и холодный воздух перемещались слоями, и теплый пах

яблоками, а холодный — стылым камнем и росными травами; и если стоять тихо-тихо, закрыв глаза, чувствуя кожей дыхание сада, то можно ощутить, как ходят волны — то один слой пирога, то другой.

— Ты вдыхай его, питайся, — говорил Зверолов, — ноздрями втягивай — смакуй... Хороший нюх человеку очень пригождается. Я зверя чую за километр...

Годы спустя Илья сокрушался, что многое позабыл из этих «ловчих» рассказов: избирательная детская память сохраняет образы, а не детали. То, как Зверолов часами сидел в засаде на снежного барса, помнил потому, что мгновенно и ясно представил его — огромного, по пояс в снегу, в меховой шапке, в тулупе; одни только черные брови шевелятся на белом от мороза лице. А дальше-то — что? Стреляли патронами со снотворным, вроде бы так? Вроде бы так, а точнее — где, у кого узнаешь? Вот и про ловушки — ямы, прикрытые ветвями, — поди разбери: помнил о них со слов Зверолова или видел гораздо позже в передаче «В мире животных»?

Зато подробно мог пересказать, как сачками ловят лягушек, и, вероятно, и сегодня смог бы завязать скользящую петлю на лассо, как учил его Зверолов, рассказывая про охоту на диких верблюдов и на лошадок Пржевальского.

Илюша ясно помнил день их последней осени: близкие горы, будто оправдывая свое название — Алатау, «пестрые», — принакрылись ворсистым густотканым ковром, с бесчисленными оттенками желто-багряных, пунцовых, ржаво-золотых кустов и деревьев. По небу кружили дырявые — пенка на молоке — облака. Плыли, сцепившись оборками, выпуская солнце на миг-другой и вновь пряча его за широкими кисейными подолами. Чуть пониже плавным хороводом кружили какие-то перелетные длинноногие птицы, нежно посылая вниз бесшумный плеск длиннопалых опаловых крыльев. А по земле, по деревьям и камням точно таким же хороводом кружили дырявые тени облаков, и, вынырнув на мгновение, солнце из последних сил согревало камень, где сидели Илюша со Звероловом.

Тот, раздевшись до пояса — «Лови последнее солнце!» (а и впрямь оказалось последним) — и вынув из кармана брюк длинную веревку, показывал, как мастерить скользящую петлю на настоящем лассо.

И в этом многослойном скользящем кружении на другом камне, напротив них молча сидела загадочная Земфира, похожая на красавца-принца из книжки казахских народных сказок...

Робкое солнце, возникая нырками, падало ей на лицо, всякий раз вылепливая его до алебастрового сияния, а ее прекрасные сердоликовые глаза то погружались в тень, то вспыхивали блестящей слезой.

И этих глаз она не сводила с мускулистых рук Зверолова, вяжущих узлы и петли.

Бедная... Она выучила этот его урок.

* * *

Маленьких степных лошадок со стоячими рыжими гривами Илюше было страшно жаль. Он не любил зоопарк и втайне, слушая рассказы Зверолова, всегда надеялся, что в конце какой-нибудь истории тот разведет руками и скажет: «Эх... сорвалось в тот раз!»

Но, как и бабушку, стеснялся огорчить и послушно тащился за ним в Парк культуры и отдыха имени Горького. А там послушно шагал мимо тесных бетонных отсеков, где метались степные волки, мимо бассейна с грязным белым медведем в зеленой воде, мимо клеток с угрюмыми орлами и беркутами, что взмахивали культями обрезанных крыльев.

Были там еще слоны, бегемоты, носорог и тапир — Зверолов шутил, что тот в белых трусах.

Просторнее всех — одна в вольере — жила большая черепаха, да еще верблюды: те хоть двигаться могли; впрочем, у них и морды такие, будто на людей им плевать.

Мальчик все это ненавидел; главное — ненавидел острый звериный запах, лучше повествующий о беде животных, чем любые рассказы.

После зоопарка всегда навещали старика Морковного. Тот жил в Татарке, неподалеку от Малой Станицы — некогда старой казачьей окраины. Татарка граничила с зоопарком, и потому днем и ночью над ее разбитыми, запутанными, тесными колеями улочек — шириной в одну то и дело застревающую машину — разносился вой, клекот и рык обитателей клеток.

Вообще, весь район Татарки (Зверолов говорил, что прежде здесь *по логике* обитало много татар, даже мечеть была) почему-то напоминал Илюше те глубокие гнезда из пашлычных палочек, что плели они со Звероловом для канареек.

Помимо типичных казачьих домов в полтора этажа — беленых, с наличниками и ставнями на окнах, с высоким крыльцом, окруженным курами, — встречались там дома из вагонных шпал. И если б не буйная зелень вокруг, выглядели бы эти угрюмые темные жилища с подслепо-

ватыми окошками совсем уж дико. Но вились по заборам голубые и розовые выюнки; цветники вокруг дома пестрели белыми и пунцовыми астрами, георгинами, мелкими сиреневыми хризантемами, барвинками и непременно золотыми шарами.

А на заборах — в первых рядах партера — восседали пестрые сонмища кошек, и в каждом дворе мельтешили «звонки» — мелкие дворняжки.

Старик Морковный снимал комнату в полуподвале одного из таких домов. Найти его было легко: на крыше дома, чуть ли не единственная в Татарке, сидела огромная голубятня. Возможно, хозяева потому и терпели старика Морковного с его канарейками, что сами держали голубей и были заядлыми птичниками.

В кривоzubом заборе, захлестнутом высокими кустами бледно-розовой и бордовой мальвы, голубела калитка с осевшим левым плечом — отворить ее получалось, только если хорошенько приналечь, а там уж оголтелым перебрехом гостей встречала упряжка трех мелкотравчатых дворняг: рыжей, пегой и белой. Бездельники радовались любому поводу дать концерт, и пока меж кустов сентябринок гости шли по тропинке к дому — желтому, с ярко-синими наличниками и ставнями, — в спины им неслись вдохновенные переливы этого трио — хриплый гав, торопливый захлеб и визгливое дребезжание шавок.

В обитель жилья вела низкая дверь со двора, и надо было еще спуститься по семи ступеням крутой деревянной лестницы. Сразу ты попадал в настоящий птичник: клетки стояли одна на другой в четыре этажа, располагаясь рядами, как стеллажи в районной библиотеке. Воздух тут был густой, кормовой, перистый, перенасыщенный птичьими слабыми звучками.

Один свободный от клеток угол занимала «кушетка» — просто матрац, уложенный на доски и поставленный на кирпичи; в другом углу на кирпичных столбиках алтарем возвышалась старая газовая плита. Был еще самодельный дощатый стол, заставленный и заваленный какими-то коробками, пакетами и птичьим инвентарем. На уголке его, расчищенном «для разговору» и застеленном клеенкой, гостей ожидало непременно пиршество. Но — не сразу, не в начале вечера.

Долгое время Илюша был уверен, что Морковный — это не имя, а прозвище старика, данное потому, что в корм своим канарейкам он подкладывает кусочки моркови. Был тот настоящим «разводчиком», настоящим, по словам Зверолова, «канареечным охотником», хотя *охотника* Илюша представлял себе иначе: молодым, ловким, с сетью в

одной руке, с клеткой в другой. Но Зверолов старика уважал и покупал у него молодых самцов хорошей зеленой линии.

— О, Федор Григорыч — это!.. — говорил он. — Федор Григорыч, знаешь, в пятнадцать лет пацаном сел за руль и всю жизнь шоферил. А когда работал дальнобойщиком, даже в дорогу брал с собой кенаря в клеточке, чтоб пел в кабине. Во какой человек... страстный! (Определение «страстный» у Зверолова означало высшее одобрение.)

А вообще Илюша скучал, слушая неинтересные разговоры про спаривание птиц и содержание их в пролетных клетках, про «дрессировку» и про «отбивание брака». Порой в заветном ожидании прекрасного окончания вечера даже задремывал под эти разговоры, уютно пристроив на руках вихрастую голову. Просыпался — вернее, вздрагивал — от сильных выкриков Морковного:

— А я тебе скажу: столько брехни, сколько в нашем деле, — еще поискать! Мол, и в бочки кенарей сажали, и в чулках подвешивали, и палками с перьями щекотали... Это все мифы! Васильев тот — да, могу рассказать, как он птиц темнил, сам видел, своими глазами: он клетку ставил в ящик, ящик заворачивал в мешок, тот — еще в какой-то тулуп... и все это запиралось в шифоньер.

— А воздух-то, воздух?

— Что — воздух? Дышать как-то птица еще дышала, а вот шла-ела, надо думать, на ощупь. Куда твоему Желтухину!

— Да-а-а...

Комната, где обитал со своими канарейками Морковный, даже в самый яркий день была погружена в полуподвальный сумрак: свет в нее с трудом протискивался через два оконца, мало того, что под самым потолком, так еще снаружи, со двора заросшие барвинками. Поэтому дверь — снизу она казалась корабельным люком, распахнутым в синее небо, — почти весь день он держал открытой. С наступлением темноты старичок Морковный щелкал выключателем, и над столом загоралась низко висящая лысая лампа величиной с младенческую голову. Но кроме лампы обязательно запаливались три свечи в трех разностильных старых подсвечниках. Это тоже было — «для разговору».

И разговор длился и длился до ночи — можно было на месяц вперед под него выспаться. И про то, что лучшими канарейками в старину считались вовсе не с Полотняного завода, хотя и про тех худого слова не скажешь, а боровские; и что в Москве в Охотном ряду именно боровские шли первым сортом, а калужские, тульские и нижегородские шли вторым и третьим. И что настоящая «концертная» канарейка стоила когда-то дороже офицерской лошади, а «отучали» ее дудками и натурой...

Мальчик скучал, но, вышколенный бабушкой Зинаидой Константиновной, терпел в тайной надежде на гренки, которыми старик Морковный всегда угощал их на прощание. Жарил сразу в двух больших сковородах на своей старой плите — с ножом в руке подскакивая то к одной, то к другой сковороде, «подстерегая момент» и с фехтовальной ловкостью переворачивая гренку именно тогда, когда «щечка» зарумянивалась «в нужной кондиции». Толстые, сочные, с поджаристыми хрупкими кружевцами, обсыпанные угольками куриных шкварок, лука и чеснока — эти гренки стоили самого пропащего вечера.

И пока за столом шли все те же скучные разговоры о кормах — надо ли включать в зерновую смесь льняное семя («Ни в коем случае! — горячился старик Морковный. — Льняное семя — маслянистое, доведет птицу до ожирения, особенно во время линьки, убьет печень, расстроит пищеварение... Давать — только как слабительное. — И со страстным лицом повторял: — Только как слабительное!»), — Илюша, обжигаясь и шумно втягивая воздух, пользуясь тем, что бабушка не видит «этого безобразия», хватал гренки руками под одобрительные кивки старика Морковного, а запивал мутно-холодным, в нос шибавшим квасом — тоже самодельным, настоящим на яблоках, на апорте.

Домой возвращались поздно, по вымершим улицам — фонарей там сроду не водилось, — косясь на зловецкие заросли мальвы у заборов и непременно ошибаясь то поворотом, то переулком, то водной колонкой. И оттого, что они плутали, и оттого, что густая пахучая темень дрожала голосами зверей и птиц из зоопарка, и оттого, что голоса эти были исполнены тоски и угрозы, можно было представлять, что пробираются они опасными джунглями, под улюлюканье и вой преследующих индейцев...

Но даже и в эти минуты, перешибая ночную мощь травных и древесных запахов, догоняя их и обещая райское блаженство, над Татаркой витал аромат неописуемых гренек старика Морковного.

Позже, скучая по Зверолову, Илюша так и не решился однажды сесть в знакомый трамвай и кривыми тесными улицами, среди тополей и карагачей, поехать в Татарку «просто так». Бабушка сказала бы, что это неприлично; да и самому себе неохота было признаваться, что во многом им движет мечта еще хоть раз отведать незатейливой, но такой вкусной еды.

Зато он приходил к «индейской пироге» и подолгу оставался там один, привалившись спиной к нагретому солнцем валуну в кустах ежевики, вспоминая, как

они слушали здесь соловья («сладостно бушующего», сказал тогда Зверолов, вытирая глаза большим клетчатым платком), как ловили ежей и черепах, а однажды поймали даже ласку, и Плюша умолил отпустить ее на волю.

Но вскоре после смерти Зверолова там повесилась старшая, самая красивая дочь Абдурашитова Земфира, и мальчик («Опустел наш сад, вас давно уж нет...») перестал туда ходить, не сумев понять и принять молчаливого предательства сада, когда с веткой одного и того же дерева связаны высочайшее блаженство и непостижимые ужас и боль.

4

То, что Зверолов — отчаянный игрок, бабушка старательно и ревниво скрывала. Та еще лакировщица действительности была. Все, что ею расценивалось как «семейный позор», запрятывалось в такие подвалы-анналы, что из этих застенков мало что вырывалось. Удивительно, что не уничтожила весь архив. Много чего пожгла, это точно, и бесполезно сейчас догадываться, что именно. (Впрочем, почему бесполезно? Наверняка все то, что могло связать Илью с его несчастной матерью после бабушкиной кончины. Хотя прожила она так долго, что вполне могла пережить и свою таинственную преступную дочь.)

Совсем уж в глубокой ее старости выплывало на свет то одно, то другое. Вот, конный завод прадеда нарисовался — видимо, старуха сочла его безопасным (смешно: для кого — безопасным?). А перед смертью вдруг рассказала, как именно Зверолов просаживал деньги: срезал все свои гладиолусы, складывал в чемодан, летел в Москву, сдавал цветы знакомому на рынке — и мигом на ипподром. Кончалось все одинаково, судя по связке однообразных телеграмм, обнаруженных Ильей в бабушкином бюро после ее смерти: «Зинанда срочно телеграфом 50 (или 100) тчк Николай».

Биография Зверолова тоже сложилась у Ильи в самых общих чертах, уже спустя много лет после его смерти. И странно было осознать, что этот человек, проникнутый любовью к малым птицам, воевал, воевал и воевал: сначала в гренадерском полку Его Величества, потом в конной бригаде Котовского, затем — в Финскую, Отечественную... Он и строил, конечно, — Турксиб, например, и, вероятно, много чего еще.

Но главным было другое: его уникальная способность к мгновенным и внезапным исчезновениям и перемещениям в пространстве. Никогда и нигде он не жил подолгу. Любимой присказкой, если случалось куда отлучиться — неважно, на сколько, на четверть часа или

на полгода, — была: «Я мигом, фигара-здесь-фигара-там!», и потому, в отличие от остальных братьев и сестер, этот весьма заметный «фигара» ни разу не попал в лагерь — не успевали за ним.

В конце концов помнилось только то теплое, родное, что имело к Илье самое непосредственное отношение: как вечерами он качался у Зверолова на ноге, верхом на огромной ступне в войлочном тапке. А тот читал или слушал радио, будто и не замечая маленького всадника, что обнимал мощную икру, щекой прижимаясь к мягкой брючине фланелевой пижамы. Когда передавали «Полонез» Огинского — плакал: громадный, с черными кустистыми бровями и толстым носом, плакал и вытирал слезы большим клетчатым своим платком.

— Ты чего плачешь? — интересовался мальчик. — От музыки?

— От музыки, — соглашался тот. — Эту пьесу играла одна дорогая престная девочка. Мно-о-ого лет назад.

Вот что еще запомнилось: ссора взрослых перед шестым днем рождения Илюши, когда бабушка, заламывая руки, ходила за Звероловом по квартире, уговаривая не дарить мальчику привезенного из Ташкента ослика. Илюша не спал и слышал каждое слово; ужасно переживал, куда определят ослика — в столовую? на веранду? Во дворе его держать не разрешили бы соседи — двор у них был общим. Бабушка то кричала тягучим шепотом, то ласково умоляла: ну, чего тебе еще, и так уже не квартира, а филиал зоопарка: черепахи, ежи, хомяки, канарейки!

Уговорила в конце концов. Но день был тяжелым, и вечер выдался под стать: сидели оба мрачные по разные стороны стола, раскладывали каждый свой пасьянс. Молчали.

Между прочим, в семействе гадали все. Вообще, карты в доме присутствовали вещественно и зримо, хотя играть в них было запрещено. Когда однажды в детстве Илюшу — он валялся тогда с ангиной — забежали проведать дворовые подружки, близнецы Нинка и Яся, и, увидев на столе карты, стали уговаривать его научиться «резать в дурачка», бабушка, застав это кощунство, с руганью вырвала карты из Нинкиных рук, подтвердив тем самым репутацию «злыдни».

Сама она гадала молча, ничего никому не говоря, свои карты в руки никому не давала. Никакой мистики и прочих глупостей в ее жестком характере не водилось в помине. Но... карты всегда в руках. Разложит — и тотчас смешает одним движением руки.

За неделю до Гулиных родов выложила — Илья случайно увидел — все смертные карты. Испугалась, побелела, быстро их смешала... И затихла.

* * *

В последние годы у Зверолова обнаружилась глаукома; он ее никак не лечил. Кажется, даже любовался некоторыми изменениями, принятыми ею в окружающий мир. Во всяком случае, Илюше хвастался:

— Исповедальню видишь? Просто шкаф, да? Во-о-от. А у меня она вся в лиловом мерцании... Окно видишь? Окно и окно, да? А у меня все оно сиянием охвачено, вроде северного: острые лучики — от белого до сиреневого.

Почему все оборвалось так нелепо и грустно; почему еще бодрый могучий старик ушел помирать (в коммуналку ушел, к своей скучной учительнице, которая как раз уехала на два месяца к сестре в Семипалатинск, да и вся коммуналка, все три комнаты — как только в пьесах бывает, чтобы сюжет сладился, — разъехалась на каникулы. Так и лежал там один до самого конца), для Ильи долго оставалось загадкой, как и загадочная бабушкина фраза о *легкой* его голове.

Бабушка всем объясняла, что Зверолов боялся ослепнуть и стать беспомощным, в тягость родным.

Чепуха! Ее обычная *лакировочная* версия.

«Как он *замучивал* себя?» — пытался представить Илюша.

Представлять было трудно, совсем невозможно: ведь напоследок Зверолов все равно должен был видеть свою нежную радугу, очарованным странником уйти, с *легкой головой*, в ореоле ее острых бело-сиреневых лучей...

Вот, собственно, и все — о нем. Осталось только добавить, что тахта, на которой он спал, называлась «рыдван»; чемодан, что под ней хранился, — «рундук». А еще по всему дому валялись химические карандаши — с Гражданской их полюбил, уверял, что писать удобно.

Илья впоследствии долго натыкался на эти карандаши по разным углам, разок подобрал и сам пристрастился; правда, удобно: послунил грифель, и вот, пожалте, — «не вырубешь топором».

* * *

В рундуке под «рыдваном» оказались:
плащ из бычьей кожи времен Гражданской войны;

кальсоны, рубашка, очки;
зеленое, легчайшее верблюжье одеяло;
справочники «Гладиолусы» и «Русская канарейка»;
неказистая белая монета царской чеканки: на одной стороне — затертый двуглавый орел, на обратной — буквы: «3 рубли на серебро 1828 Спб»;
и папка с документами.

В папке хранились мандат двадцатых годов на ношение огнестрельного оружия за подписью какого-то Якова Михайлова, телеграмма с просьбой о поставке лягушек для Ташкентского зоопарка, записки людей, безуспешно искавших его между Ташкентом и Алма-Атой, и старая коричневатая, с обломанными уголками карточка (понизу выведено славянской вязью: «Придворная фотография Я. Тираспольский и А. Горнштейн, г. Одесса»), на которой манерная, знойного облика девица губами тянулась к кенарю на жердочке.

Плащ был Илюше и раньше знаком — огромный, тяжелый, из толстой бычьей кожи, он мог стоять на полу сам, без человека внутри. От него довольно приятно пахло: кожей и чуть-чуть касторкой — смазывали на лето, чтобы не растрескался. В раннем детстве Илюша играл в нем, как в шалаше.

Так что плащ был давним знакомцем — помнится, летом они с бабушкой сообща выносили его во двор (весил он килограммов семь-восемь), переваливали через веревку и караулили, по очереди сидя посреди двора на старом венском стуле, из-за треснутого сиденья изгнанном из парадных стульев столового ранжиру.

Да, плащ был выдающийся, и кроя отменного. Илья потом видел похожий на Жеглове из места встречи, которое нельзя изменить: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник, застегивающийся под горло, — тогда остается еще воротник маленький. Длинный черный плащ, даже Зверолову длинный: до середины икры.

Якобы тянулся за ним романтический шлейф: бабушка говорила, что в этом плаще Зверолов ночевал зимой под окнами какой-то одесской балерины. Ну, ночевал или не ночевал, балерины или кого там еще, а только плащ бабушка отдала Абдурашитову. Под зеленым легчайшим верблюжьим одеялом (полезная вещь!) много лет потом спал сам Илья, а позже — его единственная, обожаемая драгоценная дочь, которая...

Нет! Рановато о ней.

Сначала о канарейках.

Само собой, ухаживать за всем этим птичьим населением стало некому. Пригласили старика Морковного с Татарки, и тот за бесценок — да у бабушки и сил не было торговаться — забрал всех птиц, в том числе и Желтухина Второго. А главное, забрал исповедальню. Вот чего Илья долго не мог бабушке простить: она всегда мечтала избавиться от «этого саркофага». Хотя, если подумать, не лишать же такого выдающегося артиста, такого, по словам Зверолова, «страстного маэстро», как Желтухин Второй, его законного жилища.

Сделка свершилась, когда мальчик был в школе. Вернувшись, он застал странно пустую, странно облезлую и, главное, странно безмолвную комнату. «Опустел наш сад, вас давно уж нет...» Вот теперь Разумович мог играть на своей проклятой флейте до потери сознания.

Это потрясло Илюшу сильнее, чем сама смерть Зверолова, чем похороны, чем плывущая в гробу на плечах незнакомых и хмурых мужчин его *легкая голова* — голова человека, что вдруг *захотел умереть и потому не страдал*.

Весь вечер Илюша проплакал, словно лишь теперь понял, что Зверолов не вернется никогда. А может, в этом беспитичье и безмолвии его сердце подспудно прозрело образ *инного* безмолвия — того, что много лет спустя обрушится на любимое существо?..

5

К девятому этажу бетонно-стеклянной башни, населенной редакциями чуть ли не всех казахстанских газет и журналов, сладкими волнами поднимались одуряющие запахи из соседней кондитерской фабрики. Ароматы ванили, патоки, цукатов, горячего темного шоколада под конец дня становились невыносимы, а с голодухи даже тошнотворны — тем более что с утра просыпался Зеленый базар напротив, раскопегаривал свои тандыры, раздувал угли для шашлыков, насаживал кусочки баранины на палочки и выкладывал их рядом на мангалы.

Опрятные корейки выставляли на прилавки миски со своими остро-пахучими салатами и закусками, всеми этими пряными морковками, капустами, грибами, требухой, фунчозой, рыбным и мясным хе... Сухие терпкие струи запахов — перец, куркума, кинза, зира, барбарис — витали над мисками и горками разноцветных специй, и вся эта благоуханная отрава, смешавшись за день с приторным духом кондитерского рая, под вечер способна была довести голодного человека до обморока.

В редакции время от времени появлялся Ванильный Дед — старый казах с покалеченным лицом: правая половина была окаменелой

и какой-то рубчато-вельветовой; левая беспрестанно дергалась, будто он не переставал ухмыляться миру и людям. Ванильный Дед приносил ворованную на кондитерской фабрике ваниль, расфасованную в пробирки, заткнутые пробкой из жеваной газеты. Редакционные бабы ждали его появления с каким-то испуганным хозяйственным вождением (ходил он по одному ему известному графику), гоняся за ним по всем этажам здания, словно его товаром был не этот кондитерский вздор, а какое-нибудь спасительное заграничное лекарство для безнадежного больного.

— Ванильный Дед не появлялся? — влетая в комнату, спрашивала запыхавшаяся машинистка Люба. Ей отвечала корректор Александра Трофимовна:

— Бегите на третий, Люба. Должен быть там, если не ушел.

Илья терпеть не мог эту советскую стеклянную девятиэтажку, студеную зимой и нестерпимо душную летом. На всю редакцию республиканской пионерской газеты «Веселые отряды» был один бестолковый кондиционер, работавший в каком-то своем творческом режиме. Выросший на земле, в апортовых садах, Илья высоту ненавидел и втайне ее боялся. А в здании даже лестницы были мерзкими: ступени — просто бетонные плиты на опорах, сквозь них — пустота. Он предпочитал спускаться в лифте, но за годы студенчества пережил тут несколько землетрясений, однажды надолго застряв в темной и душной кабине; и пока, упершись лбом в фанерованную стенку, обреченно ожидал вызволения, думал почему-то о Желтухине Втором, который всю жизнь провел вот в такой крошечной тьме ради редких минут ликующего пения.

С тех пор твердо решил спускаться на своих двоих, стараясь, однако, не слишком заглядывать под ноги.

После работы Илья выскакивал из здания редакций и бежал на Зеленый базар: купить в забегаловке поджаристую кунжутную лепешку, острый домашний сыр с тмином и базиликом или запихнуть за щеку соленый курт — поскорей заесть першащую в горле кондитерскую сладость...

Уже в то студенческое время он начал лысеть — поразительно рано. Но высокий рост, обаятельная легкая сутулость и немного рассеянные, ироничные темно-карие глаза вполне обеспечивали ему внимание женщин, тем более что бабушкино «хорошее воспитание», столь дождавшееся ему в детстве и вконец осточертевшее в юности, как выяснилось, в любой компании выгодно его отличало.

Впрочем, его карьера покорителя женских сердец (три очень разных блицромана на первом же курсе; особенно приставучая благосклонность секретарши ректора Сони Сопрыкиной) оборвалась в тот воскресный день на Медео, когда он увидел Гулю — заметил ее на огромном спящем катке: в этом своем синем платье, с широченной юбкой, вихрящейся вокруг невероятно тонкой талии. Сидя на деревянной лавочке, он надевал коньки. И когда поднялся на ноги, чтобы выйти на лед, увидел впереди стремительное кружение синей юлы. Вмиг это напомнило ему облачно-журавлиное кружение далекого весеннего дня, и, возможно, поэтому Илью даже издали поразило сходство ее разгоряченного под горным весенним солнцем лица с почти забытым лицом Земфиры.

Он решительно подъехал и заговорил, мысленно благословляя свой какой-никакой *галантерейный* мужской опыт, а иначе не решился бы ни за что.

И после, счастливый, ошеломленный тем, что *получилось*, на очень легких после коньков ногах повел угощать ее пашлыком — много их, пашлычников, стояло вдоль дороги: пряный синий дымок в холодном воздухе. И ели они стоя, жадно стаскивая зубами с палочек кусочки вкуснейшей баранины. Под мостом среди снега, льда и камней стеклянно брэнчала речка. Футляр со скрипкой (после катка Гюзаль должна была ехать на репетицию) он неудобно и осторожно держал под мышкой, боясь уронить и время от времени делая вид, что роняет, — тогда она округляла в испуге длинные сердоликовые глаза под высокими *ласточкинскими* бровями.

Это было время его короткого и вялого мятежа против бабушки: борясь за свою хотя бы номинальную самостоятельность и взрослость, он не брал у нее денег, не сообщал, когда придет домой, а однажды, не предупредив, остался ночевать у сокурсника, о чем потом сильно сожалел: вернувшись, застал ее в состоянии невменяемом: иступленные глаза блестели окаменелым горем, руки тряслись, а Разумович, оказывается, за ночь успел обегать все больницы и морги.

— Да что, что со мной может случиться?! — кричал Илья.

— Прекратите третировать бедную старуху! — сквозь зубы сказал ему Разумович, и оттого, что тот, знаящий Илью с младенчества, вдруг обратился к нему на «вы», а бабушку назвал «старухой», Илья замешкался, криво ухмыльнулся, собираясь с ответом, но уже в следующую минуту понял, что проиграл, и мысленно махнул рукой на свои революционные потуги. Конец цитаты.

Кстати, в редакцию «Веселых отрядов» его пристроила племянница Разумовича, работавшая там корректором. И все годы учебы в институте Илья исправно отсидел в отделе писем, среди синих и красных карточек, на которых требовалось записывать адрес и имя корреспондента. Поначалу его удручала возня с бесконечными конвертами, тем более что каждого новенького подвергали своеобразной дедовщине, исподтишка наблюдая, как бедняга облизывает уголок, прежде чем заклеить конверт. Один, другой конверт, десятый... и вот уже омерзительный вкус клея во рту, шершавый язык одеревенел и еле шевелится. И тогда насмешники разъясняли с невинными лицами, что существуют кисточка или губка да стакан с водой, а конверты можно выложить елочкой — вот так, чтоб уголки с клеем один под другим: мазнул сразу все — и заклеил.

* * *

В один из августовских вечеров, что разливают в воздухе странное желтоватое свечение, Илья с завернутым в кулек увесистым куском *ла-номьяна* — рассольного острого сыра, похожего на брынзу, — вышел из центрального павильона Зеленого базара на улицу Горького. На ходу развернув бумагу и жадно отхватывая зубами ломти сыра прямо из кулька, он чуть не столкнулся с каким-то стариком — тот стоял у него на дороге с птичьей клеткой в руке. Илья чертыхнулся, извинился, притормозил. Вообще-то старики с клетками околачивались на Тастаке — был там птичий рынок. Но этот, видимо, где-то неподалеку жил, а до Тастака добираться сил уже не хватало: совсем изношенный старичок, в одной руке клетка, другая, паркинсоновая — с самодельной, приплясывающей палкой.

Но дело не в этом; чем-то его старик зацепил, напомнил что-то смутное, давно забытое: какую-то мальву у заборов, залиvistую брехню дворняжек, звяканье ведер вокруг уличной колонки...

А тот, заметив, как Илья замедлил шаг и внезапно остановился, крикнул неожиданно громким петушиным говорком:

— Молодой человек! Купите кенаря, не пожалеете! Старинный народный промысел, благородный овсянистый напев, замечательная раскладистость! Купите, ей-богу! Дом, где птицы поют, никакого сглазу не боится!

И вдохновленный тем, что юноша не уходит, а все стоит, неподвижно уставясь на клетку в руке продавца, надавал дребезжащего голоса:

— Этот кенарь — не просто певец, а большой артист! Знаменитая желтая линия. Потомство легендарного Желтухина!

— Желтухина?! — Илья рванул к нему так, что сыр вывалился из кулька и шмякнулся под ноги. Но ему не до сыра было: неужели перед ним старичок Морковный?! Неужели дотянул до нынешних времен?! Да сколько ж ему теперь?! Фу-ты, забыл имя-отчество... — Вы... простите, вы — Морковный? — Илья почему-то страшно разволновался и растрогался. Словно перед его глазами возник сам Зверолов, пусть даже тень его. — Вы меня, конечно, не помните. Я — внучатый племянник Николая Константиновича Каблукова. Мы приходили к вам, и вы... гренки жарили... и квас был еще, очень вкусный!

— Что ж — гренки, — ничуть не смутившись, ни на мгновение не запнувшись, отозвался старик Морковный. — Я б тебе, сынок, и сейчас гренки замастырил хоть куда... кабы яичек штуки три-четыре, а?

Минут через двадцать они уже ехали в такси к старику Морковному в Татарку, все той же заблудистой сетью улочек, мимо заборов, полоненных неряшливой розовой и белой мальвой. В одной руке Илья держал клетку с наследником Желтухина Второго, а в другой, так же осторожно — бумажный пакет с десятком яиц.

И точно в детство вернулся: старик Морковный, Федор Григорьич, так и жил у тех же хозяев, в своей большой странной комнате в полу-подвале.

— Скажу тебе как родному, Илюша: другие давно б меня выгнали, уж очень я им задолжал по всем статьям.

А главное, едва спустился по хлипкой крутой лестнице (голову-то теперь пришлось хорошенько пригнуть) — точно родное существо встретил: в сумраке полуподвала у единственно свободной от клеток стены стояла исповедальня. Будто все эти годы ждала его, притихшая темная утроба. И уже не казалась такой величественной, как в детстве. Просто нелепое культовое сооружение, нечто вроде двойной телефонной кабины с приступочкой, изумительно сработанное старинным мастером. И, конечно, в ней уже не было, не могло быть легендарного Желтухина Второго с его «стаканчиками гранеными». Вообще, клеток у Морковного явно поубавилось:

— Пораспродал молодых кенарей, Илюша, надо как-то сводить концы с концами. — Заметив, что Илья то и дело оборачивается на исповедальню, вкрадчиво добавил: — Но шкаф — он, конечно, по-прежнему обитаем. И жилец, доложу, очень серьезный... *Тебе*, — голосом приналеж, — покажу.

Открыл пузатую резную дверцу, нырнул по пояс вглубь, шебурша там, возясь в темноте. Наконец, извлек наружу клетку — акушер так из-

влекает младенца из утробы матери — и поставил ее в центр стола. Не-приметный блекло-желтый кенарь озирался на жердочке. Несколько мгновений в воздухе легчайшими перышками мерцали его вздохи-по-пискивания, затем вздулся тугой шар тишины, и в нем вначале короткими побаловками, низами, синичкой грянула звонкая серебристая россыпь, широко и вольно разливаясь, вознося мелодию ввысь, заплетая длинные витые пряди, подстегивая себя увертливой скороговоркой флейты. На особо трогательном переходе от овсянки к бубенцам у Ильи ждалось горло, на глаза — хорошо, что свету маловато, — на-вернулись слезы. Вспомнились их *джунглевые* утра, высоченная фигура Зверолова с закинутой, как у птенца, головой, сердитое бабушкино ворчание про «переносчиков заразы». Все так ярко вдруг ожило перед ним в череде рассыпчатых канареечных колен...

Это была *плановая* песня хорошего певца. И заканчивалась артистично: звонкими отбоями.

— Спасибо, — проговорил Илья, приходя в себя после песни, смущенной улыбкой благодаря то ли Морковного, то ли самого кенаря. — Спасибо. Я куплю у вас, Федор Григорыч, самца? Вы мне только порасскажите кое-что из дела... Хотя я помню, конечно, многое помню от... дяди Коли.

— Дорогой ты мой! — вскинулся старик. — Да я тебе все передам, всю душу свою канареечную, только знай — бери!

Весь вечер он, как бывало, захлеб и почему-то сердито говорил о своем: о кормах, о том, что к каждому самцу требуется подход: ежели он слишком темпераментный, так ты его раскорми, чтоб позже *вышел на песню*, чтоб не *заявил*. А другого, *хладнокровного* — наоборот, корми меньше, но зато стимулирующими кормами. И что все зависит от степени *профванности*, то есть выхода на песню...

И так же аппетитно скворчали восхитительные гренки на двух сквородах, исправно ворочаясь с боку на бок.

— А квас, Илюша, нынче мне не по карману, извини. Да и хлопотно, вон рука-то... ходуном ходит.

Илья просидел у Морковного до ночи и ушел, унося в маленькой клетке кенаря, молодого самца, Желтухина — а как же иначе — Третьего, первого питомца, с которого затеплилась его личная страсть, его канароводная звезда, будто сам Зверолов через своего едва ли не потустороннего посланника озаботился приставить к покинутому делу «внучонка».

Странно только было, что старик Морковный почти не вспоминал Зверолова, как это было бы понятно и очень даже приятно Илье. Толь-

ко напоследок, когда прощались у лестницы, ведущей к двери-люку, распахнутому в желтоватую тьму августовской ночи, сдержанно проговорил:

— А ты другой...

— Что — другой?

— Другой, чем он. Ты смиренный. Тихий. Это в нашем терпеливом деле гораздо лучше. Николай — тот буйным был, и во всем — буйным: в жизни, в канарейках... в женщинах. Я ж говорил ему тогда: как ты мог, старый подлец, — девочку, девочку! — в себя влюбить...

Вгляделся в полутьме в обомлевшее лицо Ильи и зашнулся:

— А ты что... не знал, выходит?

— Не понимаю... — пробормотал юноша. — О чем — не знал? Вы что... вы...

— Ну так дочка же... несчастная девочка этого садового егеря...

Илья аж в перила лестницы вцепился, чтобы на ступеньку не осесть, — так тело огузло. Вмиг пронеслось: кружение молочной пенки облаков на высоких небесах, обнаженные сильные плечи и грудь Зверолова с печатным пряником верблюжьего копыта, его мускулистые руки, ловко затягивающие узлы на скользящей петле. И — бес- сильными плетями висящие руки Абдурашитова на похоронах дочери.

«Опустел наш сад, вас давно уж нет...»

— Вишь, как оно выходит, если буйствовать, — вздохнул старичок Морковный. — Хотел он ее отпустить своей смертью, а оно вон как повернулось: это она своей смертью его догнала и уже не отпустила...

* * *

С того вечера он часто заглядывал к старику, иногда в неделю раз, а бывало, и чаще. И всегда находилось о чем потолковать, тем более что Илья только приступал к дотошному постижению канароводного дела. Морковный же был — неутомимый рапсод своей страсти. Глубокий старик, слабеющий с каждым днем, он оживлялся только на теме жизненного промысла: на канарейках. У него и голос становился тверже, и рука будто меньше тряслась.

Сидели за гренками целыми вечерами, потом еще минут сорок договаривали, стоя у лестницы под распахнутой в небо дверью.

И однажды Илья решился.

— Федор Григорьич, я вот что хотел... Только не думайте, что непременно обязаны рассказать, но даруг вы что-то... может, слы-

шали, пусть даже сплетни, мне все равно! А если нет, то простите и забудьте.

Они опять прощались, стоя под распахнутой дверью. Высоко вокруг лампы вилась золотая мошкара. Илья, как в медленном сне, пытался вымолвить, произнести слово, реже которого он вряд ли что в жизни произносил. Наконец, выдохнул:

— Моя мать. Вы, случайно, не знаете о ней?

Морковный помолчал, рассматривая лицо Ильи, будто сверяя его черты с чертами кого-то забытого, отринутого, возможно, и преступного.

— А сам не знаешь? — спросил он.

— Нет.

— Ну, так тебе, значит, и не велено знать.

— Кем не велено? — оторопел Илья, думая, что старик имеет в виду бабушку Зинаиду Константиновну с ее строгостями, под старость уже смешными.

Но тот, очевидно, отнюдь не бабушку держал в уме. Молча подняв указательный палец трясущейся руки вровень с плечом и ткнул им в потолок. И палец этот ходил и ходил, точно отыскивал где-то там, вверху — возможно, в небе самом — единственную достойную цель. Потом опустил руку, помолчал и устало добавил:

— Я, мил ты мой, толком не скажу. Николай рассказывал, а я уж и не помню подробностей. Но тяжелая вышла история с этой ее дочерью.

— Чьей? Чьей дочерью? — чуть не крикнул Илья.

— Ну так... Зинаиды дочерью, чьей же еще, — недоуменно отозвался старик. — Татьяной ее звали... Вроде она с детства была такой... убегала и убегала...

Золотая мошкара вилась под приполокой вокруг лампы, добавляя к звездной россыпи блестящее канареечное мельтешение. Сердце Ильи тяжело бухало о ребра. Рука сжималась и разжималась, будто припоминающая жесткую хватку бабушкиной ладони, все детство не отпускавшей руки внука.

— Николай говорил, это болезнь такая, вот забыл, как называется: человек бежит, бежит... сам не знает куда. Только на месте оставаться не может никак. И вот она, значит, девочка, ее дочь... убегала лет с двенадцати. Мать головой о стенку билась: сначала молила, потом под замок сажала, а после уже напрямую в милицию — с воем: помогите, мол. В какие-то закрытые интернаты девчонку определяли, так она — где обманом, где ловкостью — отовсюду выворачивалась и убегала. Ну, и... однажды явилась домой не одна, а... — Он взглянул на Илью и оборвал себя.

— Не одна, а со мной, — закончил тот. Повернулся и взбежал, раскачивая лестницу, в черное небо, пересыпанное огоньками невозмутимых звезд.

* * *

Года через полтора старик Морковный умер.

Выпустил утром птиц полетать, прилег на топчан и уснул под сенью желто-зеленых крыл — что может быть прекрасней? Нарядная, благостная смерть.

Оказалось, что он оставил бумагу, в которой ясным крупным почерком в одном предложении отписал Илье все свое птичье хозяйство вместе с «дубовым шкафом».

Гуля тогда уже была беременна и тяжело носила, вся опухла, но с веселым недоумением смотрела, как, пыхтя и шепотом матерясь, чтобы не услышала бабушка, два сослуживца Ильи помогали втаскивать в дом тяжелую резную громадину, от которой до сих пор еле слышно, перешибая запах птичьего корма и перьев, веяло тревожным церковным запахом — возможно, что и ладаном.

— Это алтарь? — спрашивала Гуля. — Это... купель? Паперть?

Так исповедашня проделала челночный рейс, вновь причалив на окраине апортовых садов. И встала у той же самой слепой беззаконной стены, рядом с финиковой пальмой, выращенной из косточки.

В раннем детстве в ней любила прятаться дочь Ильи Айя, будто врожденной ее глухоты недостаточно было, чтобы отгородиться от мира, — Айя, кровиночка, вина и награда, его горькое счастье...

Но — нет, не о ней еще. Это так, к слову пришлось: просто Айя пряталась в исповедальне, как маленький Илюша когда-то прятался в стоймя стоявшем знаменитом плаще-шалаше — том самом, в котором влюбленный Зверолов спал зимой под окнами одной всеми забытой одесской балерины...

ДОМ ЭТИНГЕРА

1

Да никакой балериной она не была! И не бывает балерин с такой грудью. Тоже мне хозяйство — балерина: полфунта жил на трудовых мослах. Нет, Эська заколачивала тапершей в синема, и заколачивала крепкими пальчиками, и остро глядела в ноты, читая с листа, а грудь у нее была... как две виноградные грозди («Песнь песней» в исполнении хора поклонников) — как виноградные грозди, созревшие свободно и сладко в ее неполные шестнадцать лет.

Спал ли некий Николай Константинович Каблуков под окнами ее дома? Вполне вероятно; да и кто бы пустил его спать в иное место? Много их околачивалось под ее окнами, любителей ноты переворачивать; возможно, кто и прилег к устатку.

Но в семье он запомнился: подаренный им кенарь по кличке Желтухин прожил ни много ни мало — да бывает ли такое?! — двадцать один год. Шутка ли? Двадцать один год, копеечка в копеечку, семья просыпалась под надрывную песенку «Стаканчики граненая», высвистываемую Желтухиным с такими фиоритурами, что любой тенор позавидует. Немудрено, что эта песенка въелась в быт, нравы и эпос данного семейства.

Кстати, о теноре.

Изрядные голосовые достоинства (помимо прочего музыкального блеска) были присущи всем мужчинам «Дома Этингера», как говаривал сам Большой Этингер — Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни. Так вот, немалые достоинства тенорового регистра демонстрировал и он сам, и его единственный, спинувший в чекистском аду, но перед тем проклятый им сын Яша, и...

...и — забегая вперед — правнук его, тот последний по времени Этингер, «выблядок Этингер», в ком выдающиеся теноровые свойства воплотились в предельной мере: в гибком его, пленительном контратеноре, этом ангельском то ли стоне, то ли вое, то ли канареечной россыпи (столь странной в теле мужчины), — словом, тот «последний по времени Этингер», которому аплодирует публика в разных залах мира.

Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат из кантонистов, трубач военного оркестра, запевала и буйн, который всю жизнь утверждал, что его, десятилетнего мальчика, пойманного «ловчиком» где-то в местечке под Вильно и увезенного в телеге с такими же перепуганными еврейскими мальчишками на Урал, в живодерню кантонистской рекрутчины, спас только залиvistый дискант, впоследствии излившийся в тенор, странно высокий для человека столь могучей комплекции; спас, подкормил и в люди вывел: «Ох, кабы не мой соловей-соловей-пташечка!»

После двадцати пяти лет военной службы (напоследок он оттрубил и отпел Крымскую кампанию) Соломон осел в местечке под Полтавой и женился на дочери местного раввина. Хроменькая девушка была и болезненная по женской части, но все ж раввинская дочь. Да и он, если трезво глянуть: солдат, конечно, хуже голя, невежа в райских кущах святых наших книг, но все ж георгиевский кавалер, да и сорок-то целковиков кантонистской пенсии от царя-батюшки тоже, поди, на земле не валяются.

И вот, случается ж такое чудо — мощь чресел библейских старцев! — прожив в бездетном браке десять лет, уже в преклонном возрасте ухитрился родить со своей хромоножкой глазастого и ушастого сынка Герцэле и обучить его...

...и обучить его не только игре на нескольких инструментах, но и способности к выдающейся мимикрии — во всем, в том числе и в такой мелочи, как перемена места жительства, привычного окружения и имени.

— Имена — вздор, — говаривал отставной николаевский солдат. — Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка, — (в баню загнали, якобы мыться, а после окатили всех холодной водой из шаек), — мне имя дали, Никита Михайлов, и служил я под ним царю и России двадцать пять лет. «Отче наш» во сне отбарабаню. Ну так что ж? Какая в том беда Дому Этингера?

Стоит ли говорить, что сын его Герц — Гаврила — был, как и положено по закону, обрезан на восьмой день своей жизни, и, прислушиваясь к звенящему крику младенца, его папаша, запевала и буян, одобрительно заметил: тенор, мол. И ведь в точку попал.

Но место в оркестре знаменитого Оперного театра города Одессы Гаврила Оскарович получил в свое время вовсе не как тенор, а как — поклон папаше-кантонисту — незаурядный кларнетист.

К тому времени он был удачно женат на Доре Маранц, дочери известного в Одессе биржевого маклера Моисея Маранца, члена правления кредитного общества и ловкого хлебного спекулянта, которого не могла разорить даже постоянная карточная игра. В приданое дочери, к нескольким недурным семейным драгоценностям, размашистый и громогласный папаша Маранц присовокупил шестикомнатную квартиру в новом доме на углу Ришельевской и Большой Арнаутской — великолепную фасадную квартиру в бельэтаже, со всеми новомодными «штуковинами»: электрическими лампами, паровым, но и каминным отоплением, ванной и туалетной комнатами и чугунной печью в просторной кухне, из которой деревянная лесенка взбегала на антресоль, в комнатку для прислуги.

* * *

Дора была женщиной изумительно стервячего нрава, зато обладала монументальным бюстом.

— Ге-е-ерцль!!! Где моя грудка-а?! — с этого начиналось каждое утро.

Обслужить этот бюст могла только знаменитая одесская портниха Полина Эрнестовна: каждый год она шла Доре Моисеевне специальный лиф, напоминавший бронированное сооружение со шнуровкой. Вот его-то Дора и называла «трудкой».

Каждое утро первый кларнет оркестра оперного театра Гаврила Оскарович Этингер, бывало, уже и одетый, и при бабочке, сжав зубы, шнуровал супругу, упираясь коленом в ее обширную поясницу. Он ненавидел «трудку», ненавидел ежеутреннее шнурование и ненавидел Дору. В те минуты, когда его сильные пальцы профессионального музыканта тянули шнуры и вязали узлы, он мечтал оказаться вдали от супружеской спальни и от Дориной откляченной задницы — приложив к губам мундштук кларнета, искоса поглядывать в ложу второго яруса, где в бархатной полутьме, смутно белея истомной ручкой на пурпуре

барьера, маячит белокурая Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, дочка антрепренера театра. Она всегда приходила на утренние репетиции, и ее тишайшее присутствие волновало сердца многих семейных оркестрантов. (Ну так что ж, скажем мы вслед николаевскому солдату, — какая в том беда Дому Этингера?)

А вот о ком следует упомянуть особо, так это о Полине Эрнестовне.

О, эта дама заслуживает некоторой остановки в повествовании, своих пяти минут восхищения и оваций.

Бесподобно уродливая, одышловая, лохматая, с большими ногами, со страшными круглыми бородавками по всему лицу, Полина Эрнестовна была гением линии и формы. Обшивала она артистов оперного театра и одесскую аристократию. За работу брала дорого и несуразно: не за изделие, не за час — за день шитья. Потому к заказчику приходила жить. И жила неделями, неторопливо обшивая всю семью. Но перед «работой» являлась с визитом загодя, дня за три, и, бывало, с самого утра и до полудня сидела с хозяйкой и кухаркой, обсуждая подробное меню:

— Значитца, олады у нас записаны на четверьг, файв-о-клок? — уточняла, почесывая указательным пальцем главную свою бородавку на лбу: черноземную, урожайную на конский волос, ту, что в профиль придавала ее отежнему лицу неожиданный ракурс устремленного к бою единорога. — Тогда в пятницу на *завтрек* — заливная рыба с хреном и с гренками. И смотри, Стеша, не передержи! В прошлом разе вышло суховато.

Заказчицы шли на все, благоговели, трепетали. Портниха была богоподобная: ваяла Образ, создавала Новую Женщину.

В назначенный день, незадолго до завтрака, на квартиру к Полине Эрнестовне посылался дворничий сын Сергей, и оттуда, со пшвейной машинкой «Зингер» на спине, отдуваясь и тихо под нос себе матерясь, он отбывал *до квартиры* Этингеров. За ним на извозчике, с саквояжем на слоновьих коленях следовала сама Полина Эрнестовна.

Выкроек она не знала. Царственным движением руки, широким жестом сеятеля в поле набрасывала материю на стол, вынимала из чехла большие ножницы и — к черту мелки-булавки-стежки-прихватки! — на глаз, по наитию вырезала силуэт платья, затем молниеносно приметывала и *уаживала* его на фигуру. Эта неопрятная карга, своими бородавками пугающая малых деток, изумительно чувствовала форму.

Заказчиц и их робкие пожелания в расчет не брала: эдакий вздор, отрезной верх — при ваших ногах-колонках?! при вашем животе-по-

духе?! Не делайте мне головную боль! И отмахивалась — великий стратег, ваятель Фидий, единорог перед битвой. Вот так, так и так. Ну, пожалуй, плечики можно поднять, чуток выровнять ваш горб, мадам Черниточенко...

Полина Эрнестовна сама изобретала модели, да что там — она была родоначальницей нового стиля: «долой корсеты!» Долой-то долой, добавим мы вскользь, но только не в случае Доры. Той она при первой же встрече заявила:

— Мы закуем тебя в латы, Дормосевна, солнце. Ты у нас будешь Орлеанской Девой, а не дойной коровой...

Не любила она две вещи: во-первых, возню с обработкой швов (оперные костюмы не нуждаются в мелких глупостях: выходит в «Онегине» дородная Татьяна в лиловом сарафане, сидящем на ней как влитой — и кто там из зала станет разглядывать, насколько тщательно обработаны швы?), во-вторых, крутить ручку «Зингера».

Ручку крутил кто-либо из домашних — обычно Стеша (кухарка, прислуга, приبلуда... но о ней позже, позже, в свое время). Если же какой-нибудь пирог или жаркое требовали неотлучного присутствия той на кухне — звали дворничьего сына Сергея; ежели и он отлучился от ворот, рекрутировали старшенького, гимназиста Яшу. А вот когда, бывало, и Яша усвистал, и Гаврила Оскарович на репетиции... так тут уж чего? Тут уж на ручку «Зингера» безропотно, что было ей не свойственно, наваливалась сама Дора и, тяжело колыхая незаурядными выменами, прилежно крутила, и крутила, и крутила, смахивая пот со лба, искоса любуясь бисерной стежкой двойного шва, выплывавшего на атласную голубую гладь очередной «трудки».

* * *

«Большим Этингером» Гаврилу Оскаровича за глаза почтительно называли все — коллеги, знакомые, соседи, жена, прислуга... Он и вправду был большим: два аршина двенадцать вершков росту, с красивой крупной головой, увенчанной весело рассыпчатым каштановым коком. На крышке концертного фортепиано в гостиной стояла фотография в серебряной рамке: он с Федором Ивановичем Шаляпиным в дни гастролей того в Одессе — два великана, в чем-то даже похожих.

Была во всем облике Большого Этингера некая размашистая элегантность, непринужденная уверенность в себе, доброжелательная порывистость эмоций. Музыкантом был до кончиков длинных, нервных, с приплюснутыми «кларнетными» подушечками пальцев, и все интересы жизни сосредоточены только на ней — на Музыке! При всей

оркестровой занятости преподавал в музыкальном училище по классу кларнета, состоял в попечительских советах трех благотворительных обществ, а кроме того, руководил хором знаменитой Бродской синагоги, куда на праздники и на субботние богослужения являлись даже и неевреи, даже и христианские священники — послушать игру немецкого органиста из лютеранской церкви, а также изумительные голоса, среди которых сильный драматический тенор Гаврилы Оскаровича вел далеко не последние партии.

Как известно, в начале двадцатого века Одесса была помешана на вундеркиндах. Помимо музыкального училища, в городе, как почки по весне, возникали и лопались частные музыкальные курсы. Чего стоил один только великий малограмотный Столярский со своей «школой имени мене», Петр Соломонович Столярский, часами стоявший перед детьми на коленях, ибо именно с такой «позитии» ему удобнее было наблюдать игру и исправлять ошибки.

Само собой разумеется, что детей своих, сына Якова и дочь Эсфирь, Гаврила Оскарович с детства приладил к занятиям музыкой: он всегда мечтал о семейном ансамбле.

Вообще, как все дети из приличных семейств, они, конечно, учились в гимназиях: Яша — в Четвертой мужской, на углу Пушкинской и Греческой, Эсфирь — в Женской Второй классической, угол Старо-портофранковской и Торговой (образцовое, заметим в скобках, учебное заведение). Кроме того, до Яшиных пятнадцати лет в семье жила Ада Яновна Рипс, дальняя родственница из Мемеля, обучавшая детей французскому и немецкому; заполошная старая дева, подверженная приступам внезапной и необъяснимой паники, она покрикивала на них то на одном, то на другом языке.

Дора считала этот метод идеальным, *жизненным*.

— Главное, чтоб за словом в карман не лезли!

— Неглубокий же тот карман! — иронически отзывался на это Гаврила Оскарович. Тем не менее дети неплохо болтали на обоих языках, чего не скажешь о самой Аде Яновне относительно языка русского. Несколько ее выдающихся фраз вошли в семейный обиход, намного пережив саму эту, похожую на встрепанную галку, старуху в пенсне. «*Уму не растяжимо!*» — восклицала она, услышав пикантную, радостную или горестную новость. Диагнозом чуть ли не всех болезней у нее было решительное: «*Это на нервной почке!*» Она путала понятия «кавардак» и «каламбур» («В голове у нашего Яши полный каламбур!»), «набалдашник» называла «балдахином», гостей и домашних провожала пожела-

нием «*ни пуха, ни праха!*», а когда в семейных застольях галантный и насмешливый Гаврила Оскарович неизменно поднимал тост за здоровье «нашей дорогой Ады Яновны, великой наставницы двух юных разбойников», — она столь же неизменно всхлипывала и страстно выдыхала: «Я перегу их, как синицу — окунь!»

Но все это общее *так себе образование* (включая гимназии) отец рассматривал исключительно как домашнюю уступку жене, как несущественную прелюдию к образованию *настоящему*. Ибо Гаврила Оскарович Этингер не мыслил будущего своих детей без музыки и сцены, без волнующего сумрака закулисья, где витает чудная смесь пыли, запахов и звуков: дальняя распевка баритона, разноголосица инструментов, рыдания костюмерши, которую минуту назад примадонна назвала «безрукой идиоткой»... но главное, праздничный гул оживленной публики, заполняющей полуторатысячный зал, — тот истинно оперный гул, что, смешиваясь с оркестровыми всполохами из ямы, прорастает и колосится, как трава по весне.

Так что Яша *сел на виолончель*.

— Виолончель, — втолковывал сыну Большой Этингер, — это воплощенное благородство! Невероятный диапазон, потрясающий теноровый регистр, напряженная мощь звука... Да, из-за огромной мензуры на ней не звучит вся эта головокружительная скрипичная акробатика; да, виртуозные пассажи выглядят чуток суетливыми — вроде как дама габаритов нашей мамочки падает на руки партнеру в аргентинском танго. Но! Эта неуклюжесть с лихвой окупается качеством тембра. Никакие скрипичные «страсти в ключья» не сравнятся по накалу с яростным речитативом виолончельного *parlando!* И кто лучше виолончели создает эффект грусти? Ты можешь возразить: «А фагот?» Да, фагот потрясающе печалится. Но где ему, бедняге, взять красоту вибрации струнных! Нет, довольно Одессе батальона младенчиков-скрипачей, — заключал он, решительно прихлопывая огромной ладонью ручку кресла. — Все это мода и глупость, а вот хороший виолончелист, что в оркестре, что в ансамбле, всегда найдет себя на нужном месте.

Шестилетнюю Эсфирь, согласно этой практичной концепции, собирались посадить за арфу (арфа — вечная Пенелопа оркестра, прядущая свою нежную пряжу), и, надо признать, лебединый изгиб сего древнего инструмента очень шел к кольчатой волне Эськиных ассирийских кудрей. Но девочка была такой крошечной, что не доставала

до последних коротких струн. Тогда, делать нечего, отец отправил ее на частные фортепианные курсы Фоминой в Красном переулке, где обнаружился и расцвел один из главных ее талантов: девочка поразительно быстро читала с листа, цепко охватывая страницу многозвучным объемным внутренним слухом. Так что именно Эська оказалась тем чудо-ребенком в семье, на которого стоило ставить.

Честолюбивый Гаврила Оскарович с двойным пылом, отцовским и педагогическим, бросился — как в свое время его папаша-кантонист на редуты противника — на муштру новоявленного дуэта.

По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры в бельэтаже трубный рев Большого Этингера:

— Вступай на «раз и два и!» Не тяни! Это ж *уму неraftяжимо!* Виолончель в твоих руках — как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. — И далее — мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.

* * *

Но, между прочим, недурной вышел ансамбль — «Дуэт-Этингер»: что ни говорите — отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы...

Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещение пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу — Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, — заслужив аплодисменты искупленных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.

Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертничали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал,

каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии — когда приключилась эта беда.

Никто из тех, кто знал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста, — никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.

А Яша переменялся внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глазуду зъихав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылко ахинено о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная котка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.

— Кого?! — кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. — Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!

Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого respectable борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»

Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво брэнчало фортепяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:

В Одессу морем я плыла на пароходе раз...

Или:

Меня мужчины очень лю-у-убят,
Забыва я победам счет,

Меня ласкают и голу-у-бят,
В блаженстве жизнь моя течет...

Заблуждению по поводу Япиных отлучек поддавалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.

— Яша! — кричала она. — Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»

Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:

Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-у-ра позволяет...

Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!

Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Степшей именовалась «жаждой социальной справедливости» — во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».

Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров — в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» — наведаясь пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.

Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Полюбуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу — столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибился к босоте и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!

— Вообразите, на Молдаванке, на Виноградской, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!

— На... на манекенах?

— Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился выгащить портмоне, не зазвенев, — получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович...

Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как *на анархистов имеется предписание*, а служебный долг — он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оскарович...

Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретенные), улажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что...

Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).

Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.

И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовской рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.

Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна:

— Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!

Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша — *ни туха, ни праха!* — беспшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Степка!), из денег прихватив только семейную реликвию — «белый червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли *на серебро* 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мишцу.

В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищъ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами “Вольной коммуны”», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».

Словом, «шпик-блеск, имер-элеган на пустой карман».

Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы пригождаются нелепые излияния вашего непутевого сына.

Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..

И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное — тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.

Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?

А ведь и правда: спустя всего несколько лет охотников поздравить с имуществом «буржуев» Этингеров встречала на пороге рослая Стеша с льняной косой вокруг головы и, подбоченившись, выставив перед собой пресловутый листок с уже

известной фамилией, зычным, шершавым, не своим голосом покрикивала: «А ну, кто тут посмелей — забрануть дом Якова Михайлова?»

Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.

В доме воцарилась угрюмая тишина, в которой тягучие, вздохнув, рыдания Доры (Яша был ее любимцем) причудливо вторили разбитному треньканью и вечерним призывам «девочки, в залу!», кружили по двору над деревянной галереей, над цистерной для дождевой воды, гулко аукались под низкой сводчатой подворотней и сквозь вензеля чугунной решетки ворот уносились прочь — на улицу, чтоб безнадежно угасать там, в кроне старой акации.

2

«В ж-ж-ж-жну! Вж-ж-ж-жну! Вж-ж-жну-вжик!» — сумасшедшие хрущи прошивали воздух вспышками бронзовых крыльев.

Уже заполнялись дачи Большого, Малого и Среднего Фонтанов, уже двинулись туда поездами парового трамвая (в народе прозванного «Ванька Головатый») и вагонами конки толпы гуляющих; уже в павильонах Куяльницкого и Хаджибейского лиманов приезжие и местные курортники погружали в «грязевые и рапшные ванны» свои обширные зады, обтянутые полосатыми купальными костюмами.

Уже расцвели огромными медными лютиками вынесенные на террасы граммофоны, изливая где рулады Карузо, где страстный вой цыганского романса, а где забубенный тенорок популярного куплетиста. Уже варили в огромных тазах варенье по садам; веселые и праздные дачники уже репетировали домашние спектакли, а над купальнями витал задорный женский визг да скабрёзно похохатывали ломкие голоса гимназистов.

В фиолетовых тенях под платанами шла непрерывная кутерьма узорчатых солнечных зайцев. Девочки во дворах мастерили куколок-мальвинок: три бутона — голова и руки, а распустившийся цветок мальвы — колокол розовой юбки.

Но Эська давно забросила дворовые детские глупости.

Прошло два года с той ночи, как Яша сиганул в окно и совершенно пропал из виду семьи. Все это время девочка неустанно заливала тоску и тревогу родителей кипящими пассажами этюдов и упражнений, не-

детским чутьем понимая, что отныне миссия ее — не утешение (вялая ласка утешений еще никого не вернула к жизни), тут другое нужно: полный и сокрушительный реванш!

И вот, мимо лепных тугощеких ангелов на фасаде, меж бронзовых дев, озарявших фонарями подножие широкой лестницы вестибюля гостиницы «Бристоль» — самого роскошного, как писали газеты, отеля России, — Гаврила Оскарович Этингер сопровождал дочь на аудиенцию к известной австрийской пианистке Марии Винарской. В третий раз та гастролировала в Одессе, и Гаврила Оскарович через антрепренера театра договорился о прослушивании.

— Папа, — шепотом спросила Эська, глаза на позолоту невесомых чугунных листьев парадной лестницы, на сахарные груди скульптурных дев в округлых нишах, на сияющий атлас зеленых гардин, богемские каскады ослепительных люстр в высоких потолках, на малахитовые столешницы и раскоряченные ножки миниатюрных столиков в стиле ампир, — разве там, в номере, есть фортепиано, папа?

— Рояль! — отрывисто бросил вполголоса Гаврила Оскарович. — Она возит его с собой.

— Рояль — с собой? В багаже? Как панталоны?! — Девочка прыснула так, что на нее оглянулся мальчишка-рассыльный.

— Ничего смешного. Марии ведь нужно репетировать. Сама знает, как важен свой инструмент.

Большой Этингер волновался, сможет ли его застенчивая дочь показать себя во всей полноте таланта. Высокий кок надо лбом, сильно осеребренный анархистскими похождениями Яппи, сейчас казался еще более из-за темной крови, прилившей ко лбу и вискам.

На самом деле это только называлось «аудиенция у Марии Винарской». Все знали, что знаменитую пианистку во всех ее турне сопровождает супруг, профессор Венской консерватории, а точнее, Королевской Академии музыки и исполнительского искусства (*Akademie für Musik und darstellende Kunst*), артистический ее директор и член попечительского совета Марк Винарский. И вот к нему-то, профессору Винарскому, автору книги по фортепианной постановке рук, выдающемуся интерпретатору Шопена и создателю специальных этюдов для развития «шопеновской техники» — да, именно к нему, гениальному Марку Винарскому, Гаврила Оскарович привел на погляд свою тринадцатилетнюю Эську.

Та по-прежнему оставалась миниатюрной, так и не подросла за всю последующую жизнь: метр пятьдесят, и ножка — тридцать третий золушкин размер в придачу к вечной головной боли — где такие туфельки разыскать. Прежде заказывали у «Брохиса съ сыновьями» («во всёхъ лучшихъ магазинахъ обуви европейской и азиатской Россіи»), потом остался «Детский мир», где вам выносили инфантильные бантики и пуговики или тупоносые мальчуковые ботинки с коричневыми солдатскими шнурками.

Однако при своем малом росте сия отроковица уже соразмерно оформилась, убирала кудри во «взрослый» узел на затылке, обнажавший фарфоровый стебель шейки, и по-взрослому умно и вежливо глядела на собеседника блестящими черными глазами, ужасно стесняясь лишь одного: предательски «вдруг вскочивших» круглых и тесных грудей.

И можно только вообразить, какое впечатление производила эта малышка, шпарившая Четырнадцатый этюд Шопена на беспощадной бриллиантовой скорости.

Ее маленькие руки обладали поразительной растяжкой и небывалой для девочки отчаянной силой. Иногда, доставая носком туфельки педаль, она чуть не соскальзывала с рояльного, обитого кожей, табурета (высоту которого, прежде чем дочь села за инструмент, Гаврила Оскарович долго придирчиво устанавливал, подкручивая регулировочные маховики); подпрыгивала, как мяч, выплеснув на клавиатуру пену очередного кружевного пассажа; мечтательно замирала, выпустив из рук угасающий аккорд. Ее точеная головка с собранными на затылке в узел черными кудрями, мелко-кольчатыми, как бороды ассирийских царей, строгий профиль, который она рывком оборачивала то к одному, то к другому краю клавиатуры, чуть ли не ухом и щекой приникая к клавишам на пианиссимо, а на фортиссимо швыряя аккорды куда-то под рояль; ее блестящие глаза, то сощуренные в щелочки, то расширенные как бы в ужасе на громовых каскадах, округлый детский лоб, покрытый испариной, и бешеная погоня по клавишам ее недетских, суховато-мускулистых кистей, — все излучало подлинность таланта. Гаврила Оскарович в паузах лишь глубоко переводил дух, мысленно посылая дочери утешающую сдержанную силу и молясь, чтобы ничто не помешало ей отыграть до конца приготовленную программу.

После первых двух минут ее игры из спальни вышла сама Мария: некрасивая, угрюмо-лобастая, как щенок, громоздкая женщина с тя-

желым подбородком и маленькими, близко поставленными глазами такой ликующей синевы, что вся ее внешность тушевалась, оставляя только этот властный свет.

Она вышла и молча простояла за спиной девочки до конца исполнения.

Завершив пьесу, Эска сняла руки с клавиатуры, оглянулась и нашла глазами отца. Папа сидел в кресле чуть поодаль, сцепив на колене кисти рук, даже пальцы побелели, а сам был очень, очень красен. И красив! Он улыбнулся ей и чуть заметно кивнул. Так у них было условлено: сигнал к продолжению.

Она отерла вспотевшие ладони о колени и, выпрямив спину («перед началом всегда глубоко вдохни»), заиграла Тридцать вторую сонату Бетховена, сложнейшую...

И когда после раскаленного до минора первой части вылетела на вторую, с разреженным воздухом ее альпийских вершин, накрытых снежными ризами, с ее умиротворенно истончающим «Lebewohl!» — «Прощай!» — последних вариаций, все бури и потрясения первой части, все земные обиды и оскорбления, и месть — Яшкин побег, безумие внезапных Дориных истерик, отцова печаль — все осталось в прошлом, а душа растворилась в беспамятной неге, в синих тенях, скользящих по склону горы, облитому ледовым блеском.

И сливочным блеском сияла клавиатура, и черным плавником огромной акулы вздымалась поднятая крышка концертного рояля.

Высокая стеклянная дверь балкона была распахнута в кроны цветущих акаций; хрустальную вазу в углу распирали букет влажной рыхлой сирени такой пышности, что столик под ним казался робким, как олененок. В воздухе этой с роскошью обставленной залы чудесно слились морской солоноватый бриз, духовитая волна от цветущей акации за балконом, тонкий аромат цветов и терпкая горечь духов стоявшей за спиной у Эски молчаливой грузной женщины. Ее безмолвное одобрение, волнение отца, его подрагивающие, сцепленные на колене пальцы, ручьи, водовороты и водопады пассажей, изливавшиеся у девочки из-под рук, — все обещало недюжинное будущее: вихрь сирени на иных бульварах, переполненные залы, черные фраки оркестрантов, акулы плавники лучших в мире концертных роялей, рукоплескания публики.

Где-то внизу, в порту, в синеве моря и неба длинным и тощим голосом занял пароход. И словно в поддержку ему, яростно жужжа, с улицы влетел сумасшедший изумрудный хруст и, басовито и торжественно вторя финалу сонаты, проник в самую гущу сиреневого букета.

Мария подошла и положила на плечи девочке свои прекрасные тяжелые руки. И все задвигались, вздохнули, заулыбались и разом заговорили на трех языках. Профессор достал из кармана большой синий платок и, смешно двигая косматыми бровями, затрубил в него на ре-диез — он прослезился во время Эськиной игры.

Вдруг, явно волнуясь, заговорил на языке, похожем на немецкий... ах да, это идиш, поняла Эська, — секретный язык, на который переходит с мамой дедушка Моисей, если хочет, чтобы его не поняли внуки; и напрасно — понятно все до копейки, и все неинтересно! Оказывается, папа тоже может на нем говорить — да так быстро, перебивая профессора и тоже волнуясь.

Высморкавшись, профессор заявил, что на своем веку впервые после Марии (не правда ли, *херцлихь?* — и супруги переглянулись) услышал пианистку столь даровитую, с таким воздушным и в то же время властным *туше*; что он был бы счастлив учить эту талантливую «мейдэле» по месту, что называется, назначения, а именно, в Вене. Юный возраст не помеха в зачислении на курс в академию; как известно, и Моцарт, и Бетховен... да что там говорить!

Оказалось, что знаменитый Марк Винарский не всегда состоял артистическим директором и членом попечительского совета Венской Академии музыки, а когда-то был шестым ребенком в бедной еврейской семье в местечке Жосли Виленской губернии; что после скоропостижной смерти отца мать покинула местечко и отправилась на заработки в Вильно, раздав детей по состоятельным семьям. Маленький Марк попал в семью местного врача — доброго бездетного человека, большого любителя музыки. Все это профессор Винарский пробубнил, то и дело сморкаясь, смущенно вставляя в свой немецкий — для Эськи, наверное, — колченогие русские словечки: «исполнитель пахнет, что вол!»

...тут, одурев от сирени, изумрудный хрущ поднялся в воздух и полетел в сторону порта, откуда потерянными гудками тянули в терцию — на ля- и на до-диез — свою песнь корабли парокходства «Австрийский Ллойд».

Эська рассеянно улыбалась, кивала, что-то отвечала на вопросы взрослых. После Бетховена она всегда чувствовала изнеможение, как после долгой болезни с высокой температурой. Она, конечно, была ужасно рада, что аудиенция удалась; но одновременно ей не терпелось скользнуть с табурета, схватить отца за руку и поскорее утащить. Дело в том, что папа обещал повести ее в *кондиторскую* Фанкони, угостить мороженым со сливками. Эти двое, обожатели друг друга и оба преступные обожатели сливок, частенько заходили к Фанкони, где заказыва-

ли мороженое со сливками, пирожное со сливками, кофе со сливками и — специальным заказом — большую чашку сливок.

Это был ритуал: когда дочь, блаженно жмурясь, отхлебывала из чашки мелкими глотками, отец, патетически воздев руки и потрясая ими, всплескивал тенором, так что официанты с улыбкой оглядывались на их столик:

— «Сердце полно жаждой мщенья! Мщенье и гибель всем врагам!»

Эська глядела на отца сияющими глазами. Она его очень любила. У папы были чудесные, серые в крапинку глаза в густых ресницах, победного рисунка брови, очень выразительный «гаранный» взгляд: прежде чем он начинал говорить, уже было ясно, о чем он думает.

В тот миг, когда, устремившись с кресла вперед, точно собираясь прыгнуть с помоста купальни, сцепив перед собой сильные кисти (а выразительные большие пальцы нервно перекручивали невидимое веретено), он горячо втолковывал профессору что-то о «накопленном репертуаре» дочери, Эська припомнила некий синий с холодным румянцем день ранней весны, когда классная дама Рыгалина по кличке Влюбленная Вошь вела группу гимназисток на Дерibasовскую, в дом Сепича — запечатлеться в «Первоклассной фотографии Я. Бълоперковского, придворного фотографа Его Величества Короля Румынского».

От снега, что выпал на рассвете, но к десятому часу уже раскис, пахло фиалками; холодный ветер с моря перебирал звенящие струны голых деревьев, попутно сгоняя с крыш тяжелые квадриги радужных голубей и посылая вслед им гроздь алмазных брызг; лошади волокли под пролетками гремучий цокот копыт по мостовой, и все звуки города ссыпались на бульвар, точно орехи на медный поддон.

Вдруг на другой стороне улицы Эська увидела отца: он выходил из чужого подъезда под руку с элегантной, высокой — под стать ему — дамой в чудесной шляпке с густой вуалью. Но Эська мгновенно даму узнала — по осанке: дочь антрепренера театра, Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер. Когда папа в детстве брал девочку на репетиции, она раза три оказывалась в ложе с этой изящной холодноватой дамой. И вот отец шел, прижимая к себе ее локоть, слегка наклоняя к ней голову, улыбался, горячился — в своем распахнутом сером пальто с бархатным черным воротником, в белом шелковом кашне, с кларнетным футляром в руке, молодой, слегка растрепанный и безумно любимый. Все в груди у Эської радостно, по-детски вскипело, предвосхищая возглас «Папа!» — но уже в следующий миг она торопливо отвернулась, громко задала какой-то дурацкий вопрос Влюбленной Воши, уводя внимание от красиво слитной пары вперед (отец мог и случайно встретить знакомую даму, не правда ли?), — и впервые в жизни подумала совер-

шенно папиной присказкой, с папиной же интонацией: «Какая в том беда Дому Этингера!»

И молчок: ни слова — ни самому отцу, ни Яшке, ни Степе, ни тем более матери.

Тихо улыбаясь, она покручивалась на рояльном табурете, не вступая в разговор взрослых. Знала, что отец подхватит, ответит, объяснит или возразит. Глядела на него с гордым обожанием, предвкушая пиршество под бело-зелеными полосатыми тентами на террасе Фанкони: мороженое со сливками, пирожное со сливками и отдельным заказом — полную чашку сливок.

Вдруг ее ужалила мысль: а не от чрезмерного ли обжорства сладостями так внезапно и больно выскочили эти противные сливочные сиськи?

* * *

Это был триумф Дома Этингера!

Яшина анархистская эпопея, омытая слезами и отчаянием Доры (вот уж кто готов был рассечь свою закованную в латы грудь и вырванным сердцем осветить возвращение блудного сына!), ее затворничество и мигрени, от которых по три дня раскалывался затылок, ее неприбранный вид и заброшенная «рудка» — все вмиг отошло на второй план. Все сбережения, накопленные тяжким трудом ее мужа-оркестранта, с абсолютным безрассудством были поставлены на кон. С болью в сердце была продана даже Яшина итальянская виолончель.

Старый картежник Моисей Маранц тоже рвался «финансировать заграничное обучение» любимой внучки, но его сомнительные предложения зять обошел вежливым молчанием. До осени, когда начинались занятия в консерватории, оставались считанные месяцы, и за это время надо было подготовить девочку к новой жизни, обшить с ног до головы в изысканном европейском стиле, сочинить и создать гардероб, который не посрамит и тамошнюю Кертнерштрассе с великолепием ее дорогих магазинов и разодетых модниц.

Немедленно с запиской к Полине Эрнестовне (ряд восклицательных знаков занимал целую строку) был послан дворничий сын Сергей.

Поскольку работа предполагалась срочная и ответственная, над меню просидели чуть не до полудня. На другой день с утра и до обеда, не отпуская извозчика, ездили по модным лавкам на Ланжероновскую и Дерибасовскую, в пассаж, в конфексион братьев Пуриц, а также в

гранд-конфексион Максимаджи и Гуровича: отбирали материю, пуговицы, крючки-застежки, кружева и тесьму, дымку на вуали...

И уже после обеда великая портниха приступила к священнодействию.

Тут надо бы отметить, что лохматая людоедка обожала дочь Доры Моисеевны. С ее точки зрения, та являлась идеальной моделью: шить на девочку было сплошным удовольствием и чистым вдохновением. С ней не требовалось никаких хитроумных обманок зрения, дополнительных складок для впечатления и надставных плечиков для сокрытия. Эскина фигурка говорила сама за себя. Ее хотелось поднять на ладони к свету и любоваться пропорциями и линиями — собственно, тем, что в искусстве моделирования боготворила старая портниха. Вымеряя полураздетую, в одних панталончиках, девочку, Полина Эрнестовна таращила черные, как греческие маслины, глаза, приговаривая:

— Так бы и съела ее на завтрак!

(При этих словах Дора поеживалась и притягивала дочь к себе поближе.)

Набывчив голову со знаменитой бородавкой во лбу — единорог перед решающим сражением, — Полина Эрнестовна рисовала на листках все новые головокружительные модели, вычеркивала те или другие детали, переносила с одного листка на другой рукав-реглан, отрезной лиф или воротник-хомут. Она колдовала, бормотала, фыркала и отбрасывала листки. Вновь приступала к работе, составляя списки на все случаи жизни: дорожные платья, деловой костюм, концертное платье, вечернее платье...

Повторим: она не знала выкроек и не употребляла профессиональных понятий, вроде «косой крой», «прямой силуэт» или «заниженная талия».

— Ото так... — бормотала она, — отсюда и вниз до жопки, а талию повыше... а грудку ослобонить... Шейку обьять кружевцами, плечико — в фонарик... а юбку — вихрем...

Этот «венский гардероб» — единственное, что осталось девочке от европейских мечтаний, — служил ей всю долгую, долгую жизнь, ибо Эсфирь Гавриловна и в старости оставалась такой же хрупкой дюймовочкой, не поправившись ни на фунт.

«Венский гардероб!» — чуть насмешливое, но и любовное словосочетание началось в семье не только содержимое пухлого парусинового саквояжа, который проследовал за нею по десяткам разных адресов судьбы, но и многое иное: ее привычки, стойкость перед лицом трагических перемен, неизменное очаровательное восхищение мелкими и даже убогими радостями жизни.

«Венский гардероб!» — парчово-кружевная, муслиновая, атласная стопка вещей: и платье-«блузон», и платье-«фобдестиль», или «чарльстон», и платье-«торсо», с удлиненным лифом и короткой юбкой, с кружевами валансьен, с черной бархоткой на высокой шее, а также блузки, жакеты, накидки и даже изящная, вышитая бисером шелковая театральная сумочка (серебряная пряжка в виде львиной морды) — и веер к ней, похожий на оперение жар-птицы...

А шляпка-тюрбан? а любимая кокетливая шляпка-колокол (о, шляпка-колокол, бессмертный фасончик — в гладкой картонке устричного цвета, снабженная длинной заколкой для закрепления на прическе, со съёмной пипочкой на конце: шляпка заколата, пипочка завинчивается), и — бог ты мой, нет сил перечислить.

Все это в детстве интриговало последнего по времени Этингера, «выблядка Этингера», настолько, что, играя в школьном спектакле одновременно Себастьяна и Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира, он вытащил из старого саквояжа кружевную Эську блузку с отороченным тесьмой лифом, воротником-стойкой и длинными манжетами, с рядом перламутровых пуговок до локтя, а нацепив ее, пришел в такой восторг от собственного отражения в зеркале и совершенного преобразования, что и в дальнейшем охотно использовал в своих целях детали «венского гардероба», уверяя, что подлинность этих «музейных шмоток» с их легкой лавандовой отдушкой помогает ему проникнуться образом.

Тут надо заметить, что Эську он изображал с особенным пристрастием: ее манеру говорить, тщательно отбирая слова, как бы разглядывая их, прежде чем озвучить; ее улыбку, бездумный пассажный пробег суховатых старческих пальцев по поверхностям столов и витрин; серебристый ежик ее подросткового затылка (горстку пепла, оставшуюся от угольного жара ассирийских кудрей), — добавляя к образу лишь одно: канареечную россыпь своего бесподобного голоса.

* * *

...В ином месте и в иное время безобразная старуха Полина Эрнстовна именовалась бы гениальным модельером. Ибо, как любой истинный художник, она интуитивно чувствовала, что взять от предыдущих завоеваний моды, дабы создать новый уникальный стиль. Венский гардероб грациозной девочки-подростка она безотчетно рассматривала как свой решающий выход на подиум европейской моды. И более того: оглядывая век минувший с того невидимого, но высокого подиума, который выстраивает одно лишь Время, мы со всей ответственностью рискуем заявить, что знаменитое «маленькое черное платье», якобы изобретенное в конце двадцатых в Париже пресловутой Коко Шанель, на самом деле было придумано великой Полиной Эрнстов-

ной в 1913 году, в Одессе, в квартире Большого Этингера, в доме, что на углу Ришельевской и Большой Арнаутской.

(В последний раз Эська надела его в 1984-м, получая грамоту ЦК Комсомола Украины за самоотверженный труд в деле многолетнего музыкального просвещения молодежи.)

Рождению гениального замысла не всегда сопутствует всеобщее признание. Напротив, окружающие, как известно, принимают все новое и оригинальное в штыхки.

— А это еще что? — недоуменно спросила портниху Дора, двумя пальцами поднимая со стола приметанный черный лоскут. — Рубашка?! Почему черная?

— Та не, то платьишко такое. Выручалка, на все жизнеслучаи.

— Платье?! — Дора онемела, продолжая рассматривать странное прямоугольное изделие, которое, кабы не цвет и плотная материя, могло бы сойти за наволочку. Видит бог, она благоговела перед гением Полины Эрнестовны, но старуха явно сошла с ума: разве *в этом* девушке можно показаться на люди?!

— Как же это — платье?! Такое... короткое?!

— Эх, Дормосевна, со-олнце, — протянула портниха. — За европейской модой не следишь. Кругом сейчас тенденции (она произносила: «тендентии»).

— Что за... тенденции? Что это значит?

— А то, что жизнь — она, значитца, суровая, а будет хуже; подбери, значитца, дама, свой подол и шуруй пешком до бульвару. Та ты не опасывайся: я пока подол маленько отпущу. Но только Эська потом его обязательно до колен подымет. И вот с этим платьишком будет меня полжизни поминать: оно само такое — *никакое*, — и ты шо хошь на него накидавай: манто-шманто, шкурка лисы на плечи голяком... жакет опять же строгий, плюс нитка твоих жемчугов. Вот и получится: и в аудиентию, и на концерт, и на коктейль-вечеринку.

— Какой коктейль? — стонала Дора, ладонями уминая боль в виски. — Какая вечеринка! Голые плечи?! Побойтесь бога, Полина Эрнестовна: девочка едет учиться!

Та отвечала спокойно:

— А вы, мадам Этингер, не желаете видеть дочь старше ее четырнадцати лет, не приведи господь?

Кто ж знал, что роковым этим словам, вымолвленным в недобрый час, суждено было сбыться так скоро?

Уютный хоровод мраморных колонн во внутреннем дворике венского кафе где-то в районе Хофбурга, куда в первый же день по приезде Гаврила Оскарович привел жену и дочь, Эська помнила всю жизнь. В тяжелые минуты, а их было предостаточно, она вызывала в воображении жемчужные плафоны низко висящих люстр в колоннаде; балкончик в форме бокала во флорентийской галерее второго этажа, подпираемый двумя согбенными фавнами; гнутые спинки венских стульев, крахмальные скатерти, сбрызнутые радужными бликами от алых в золоте витражей арочных окон; и надо всем — купол высокой стеклянной крыши с опаловым облаком, в котором теснилось и переливалось солнце.

— Я угощу вас настоящим венским пирожным, мои прелестницы! — сказал папа и кивнул официанту, подзывая его к столику.

Папа пребывал в отличном настроении еще с того утра в отеле «Бристоль», когда от Эскиной игры прослезился великий Марк Винарский, и ни угрюмый бубнеж всегда утомленной, всегда недовольной и всегда нездоровой жены Доры, ни драматическая неизвестность с Яшей, ни колоссальные расходы на эту поездку, не говоря уже о будущих расходах на заграничное образование дочери («Ну что ж, а понадобятся деньги — так переедем в квартиру поменьше»), не могли поколебать душевного равновесия Большого Этингера.

Он торжественно зачитывал дамам меню, со знанием дела выясняя у благодушного толстяка-официанта состав кремов и соусов. Официант — это даже мама признала по-русски вполголоса — обладал адским терпением.

В конце концов заказали белого мозельского — выпить за успех будущей студентки, за ее победы; самой Эске — нечто землянично-прохладительное под мудреным названием, а на деле — обычное «ситро», лимонадную шипучку, что подают в буфетах на Николаевском бульваре; и три разных пирожных, чтобы друг у друга попробовать: «Эстерхази-торте», с орехами и кремом, ломтик круглого «Гугельхупф» и, по выбору девочки, известный венский «Захер-торте» — шоколадный, с любимыми ее взбитыми сливками.

Кто-то наигрывал неуверенный вальс на невидимом отсюда фортепиано — принужденно, будто заикаясь. Минут через десять направляясь в дамскую комнату, Эська прошла мимо тапера, из любопытства скосив глаза. Так и есть: старый инструмент рыжеватой, как кобыла,

масти, измученный многими поколениями залихватских брынчал. За клавиатурой — пожилой дяденька, весь какой-то скособоченный. Покатый лоб с длинными залысинами, мгновенные промельки языка по губам — он напомнил девочке варана из передвижного зверинца. Но пальцы! Восковые, скрученные артритом... ах, бедняга, бедняга! Даже немудреные пьески и песенки, вымученные им из желтоватых клавишей ветерана венских кафешантанов, должны были доставлять старику настоящие страдания. Сердобольной девочке стало так жалко его! Она тут же сочинила ему судьбу: каморка под лестницей, распитие бутыли дешевого вина при одинокой свече в мятом подсвечнике и бог знает что еще... Минут через десять тапер закрыл крышку инструмента и удалился, надвинув котелок на скошенный лоб.

Принесли замысловато украшенные кремовыми вензелями и шоколадными розочками пирожные на больших белых тарелках, а в придачу — грациозный сливочник, полный первостатейных сливок, — папа такой милый, всегда все помнит.

Не притрагиваясь к пирожному, девочка порывисто поднялась со стула, смутилась, села, опять вскочила.

— Можно я поиграю, папа?

— Чуть! — раздраженно отозвалась мать. — Ты что, прислута? Поди еще на кухню, вымой им посуду!

А отец улыбнулся и сказал:

— Вперед, доченька. Покажи австриякам класс настоящей игры.

И она подлетела к фортепиано, откинула крышку, замерла на миг, по-стрекозьи перебирая пальцами ванильный, коричный, кардамоновый воздух, — и заиграла «Музыкальный момент» Шуберта. Гаврила Оскарович крикнул от удовольствия и откинулся к спинке стула.

— Умница! — прошептал он и, повернувшись к супруге: — У нее потрясающее чутье на стиль, даже на интерьер. В секунду поняла, что здесь требуется!

Она заиграла легко, вначале как бы шутливо, как бы между прочим, хотя все вокруг сразу ощутили пропасть между натужным брэнчанием тапера и игрой этой неизвестно откуда взявшейся птички-колибри с блестящей черной головкой, в персиковом платье смелого, но безукоризненно элегантного кроя, так что и понять невозможно возраст его владелицы.

В ход пошли вальсы Шуберта, и вальсы Легара, и вальсы Штрауса-сына.

Сперва одна пара, а за ней еще две-три закружились в аркадах внутреннего дворика, и когда Эська доиграла и опустила руки, публика

за столами, и компания минуту назад вошедших, да так и оставшихся стоять господ и дам, и офицер с клинообразными «вильгельмовскими» усами, утянутый, как дама в корсет, в мундир австро-венгерской армии, и группка студентов (один чудной такой, с красной шкиперской бородкой, лицо будто в огне) — все яростно заплодировали, а огненно-бородый крикнул: «Браво!»

Тогда Эська, вынув заколку из волос и тряхнув рассыпчатыми кудрями, заиграла то, что казалось ей самым подходящим — и месту, и публике: миниатюры Крейсlera — сначала изящную, с налетом легкой танцевальной грусти «Муки любви», затем кипучую и пенную, как шампанское, «Радость любви» и, наконец, виртуозную, всю на пуантах, то крадущуюся за бабочкой, то разметающую нежные объятия любимую ее пьесу «Прекрасный розмарин».

Вообще, все это были перлы скрипичного репертуара, но Эська всегда с легкостью занимала у любого инструмента его шедевры, перекладывала, преобразовывала, украшала... и преображенными дарила своей любимой клавиатуре.

...Бог ты мой, сколько раз потом Крейслер выручал ее в сценах любви — не ее любви, увы, а иллюзионной, затертой просмотрами, рвущейся в пленке, надрыванной любви синематографических див и лощенных красавцев с нитяным пробормом в набриолиненной прическе.

Но, задорно улыбаясь поверх клавиатуры огненнобородому студенту в венском кафе, разве могла она даже на миг представить свои многочасовые обморочные экзерсисы в войлочном воздухе темного зала, где сопрягались вонь от самокруток, пороховой запах мокрых солдатских шинелей вперемешку с запахом дегтя от сапог, пьяная отрывка расторговавшихся дядек с Привоза, одобренная сытным духом налузганных за день семечек.

Дымный луч киноаппарата буравил сизый столб над головами зрителей.

И она, со своим «потрясающим чутьем на стиль и даже на интерьер», шпарила «Трансвааль, Трансвааль, страна моя», и непременный «Матчиш», и, конечно же, «На сопках Маньчжурии», и — куда от них деться! — «Амурские волны». Но когда омерзение подкатывало к горлу, а волна тоски накрывала с головой, Эська переходила на благородно-утонченного Крейсlera, иногда лишь разбавляя его безыскусной печалью «Полонеза» Огинского.

Кстати, именно «Полонез» она играла в тот вечер, когда один за другим шли сеансы новой ленты «Одесские катакомбы». И по завершении последнего, девятичасового, когда у нее хватило сил лишь опустить крышку клавиатуры, а подняться со стула уже никакой возможности не было, и, уронив мутную голову на сложенные руки, она собралась забыться совсем чуток, на минутку, перед нею

вдруг вырос и навис над инструментом огромный детина, бровастый и носатый, в отличнейшем кожаном плаще, и густым умилненным басом протянул:

— О-ой, какая пичу-ужка!

Она подскочила от ужаса: на днях банда пьяных дезертиров растерзала певичку в фойе синема, и люди еще передавали друг другу леденящие подробности, хотя удивить кого-то очередным зверством было трудно: город трясся и съезжился, заползая в подворотни и норы, где укрыться, впрочем, тоже было невозможно. Перестрелки, «экссы», безнаказанные убийства, самочинные «обыски» налетчиков бесчисленных местных банд... Шайки вооруженных солдат, отпущенных с фронтов ленинским «декретом о мире», громили завод шампанских вин и цейжгаузы; из тюрьмы на днях, говорят, бежали восемьдесят пять воров, каких-то «анархистов-обдиралистов», силой остановили трамвай на соседней улице и, раздев всех пассажиров до нитки, преспокойно сыпанули по сторонам. Другая анархистская, как говорил Большой Этингер, «шобла» сочинила и напечатала в «Одесском листке» манифест с угрозами «начать террор над местным населением за издевательства над ворами и тем заставить себя уважать!».

И вот, навалившись на инструмент, этакий-то детина в плаще смотрел на девушку, чему-то ласково изумляясь.

— Так это вы играли так прекрасно всю фильму? — спросил он.

— А вы думали — кто? — еле слышно спросила Эська.

— Я думал, это фортепьяно сам играет, — чистосердечно ответил он. — Механику, думал, завели. Очень как-то... безошибочно. А вот эту расчудесную мелодию: та-ам-тари-фара-там-та-рифа-а — это вы сама сочинили?

— Да нет, — сказала Эська и устало улыбнулась. — Это «Полонез», сочинение композитора Огинского.

— Ага... Вот как! А такую песенку — «Стаканчики гранененья» — играть умеете?

— Ну... если запоете, подберу и сыграю.

— Тогда вам не я запою, а вот он. — II, как фокусник, достал откуда-то, чуть не из-за спины, маленькую клетку едва ли больше пивной кружки, где резво прыгала, вертя головой и постреливая дробинками глаз, желтая птичка. Детина в кожаном плаще вытянул губы и, приблизив лицо к прутьям, как-то затейливо посвистал, втягивая щеки. Птичка замерла, две-три секунды прислушиваясь к звукам, и вдруг отозвалась чистым и таким переливчатым голоском, что у Эски дыхание занялось. — Получите приз: маэстро Желтухин! — сказал человек в кожаном плаще уже не умилненным, а решительным тоном, протягивая девушке клетку с канарейкой. — А заодно привет от брата Яши.

Она играла в венской кофейне, наслаждаясь восхитительным ощущением своей уместности в этом прекрасном мире. Встреча с Винар-

ским была назначена на утро. Завтра, завтра она впервые переступит порог святилища, где ей предстоит учиться несколько наполненных и счастливых — она в это верила — лет. Но все это завтра.

А сегодня она исполняла перед неожиданной и простодушной публикой пьесы Крейсера, очень венскую по духу музыку сладостной эпохи *fin de siècle* — эпохи, не подозревающей, что за углом уже точит топор двадцатый, едва народившийся, безжалостный, смердящий мертвечной век.

Она играла — птица-колибри под опаловым облаком в высоком куполе стеклянной крыши, — играла, почти не глядя вокруг, не чувствуя усталости, в счастливом подъеме предвкушая куда более головокружительное будущее, загадывая так далеко, как только в юности рискует загадывать непуганая душа...

В следующую минуту все оборвал беспомощный крик отца.

Ее несносная мать, упавшая головой на блюдо с пирожными, перевернутый сливочник, чье содержимое на белейшей скатерти смешалось с хлынувшей носом кровью, бегущий к телефону и опрокидывающий стулья официант, суматоха, карета «Скорой помощи»... и странное бесчувствие, и невозможность выдавить ни слезинки из распахнутых глаз: ведь все это происходит не с ней и не с мамой и папой, а с чьими-то тенями в иллюзионной ленте, сморгнула — и кадр сменился на морскую гладь с легчайшим перышком белого паруса.

Вот только музыкального сопровождения к этой ленте Эйска не взялась бы подобрать.

Впрочем, любую фильму из тех, что впоследствии крутились бесконечной каруселью перед ее глазами, она помнила гораздо яснее и подробнее, чем три страшных венских дня. В памяти застряли отрывочные нечеткие кадры: вот знаменитый венский хирург, светило и бог, рекомендованный профессором Винарским, ставит Доре неутешительный диагноз и настаивает на немедленной операции... обрыв ленты, свист и топот — и вот уже они с папой возвращаются из больницы «Бармхерциге Брюдер», по обе стороны бульвара оставляя плывущие за спиной в туман воспоминаний прекрасные здания «венского модерна».

Зато всю жизнь помнилось, как надоедливо лезли в глаза ее буйные кудри, ибо любимая заколка для волос, подарок брата на десятый день рождения (свернутая тремя кольцами змейка с глазами-гранатами), уплыла на крышке старого фортепиано в опаловое облако венского обморока.

Всю последующую жизнь Гаврила Оскарович упорно доказывал дочери, что сама операция по удалению опухоли у Доры прошла успешно. Еще бы не успешно — если вспомнить, что на нее ушли все собранные на Эську учебу деньги. Просто Дора не проснулась после наркоза — это случается: судьба, рок, выбирайте что хотите, и не о чем говорить, мир ее праху.

Орлеанская Дева тихо удалилась из нашего повествования, отлетев на воздушных шарах своего непомерного бюста.

Всего этого Эська старалась никогда не вспоминать. Музыкакой Крейсера в уютном венском кафе закончились для нее отрочество, мечты, европейское образование, да, собственно, и музыка сама — вернее, та музыка, с которой душа ее была на равных в неполные четырнадцать лет.

И никогда больше она не притрагивалась к сливкам.

Дня через три в Одессу из Вены поездом возвращались очень тихая Эська с осунувшимся Гаврилой Оскаровичем. Дора следовала другим классом, в вагоне с другими услугами.

Вернувшись с похорон на Новом еврейском кладбище — где бурно заплаканный отец Доры Моисей Маранц, привалившись к зятю плечом, доверительно сообщил, что «разорен и истерзан, мой мальчик!», поэтому вряд ли сможет снабдить деньгами обучение внучки в европах («Боюсь, Герцль, сейчас не время на меня рассчитывать!»), и что-то еще про морской порт в Херсоне, сокращение хлебного вывоза из Одессы на сорок миллионов пудов зерна, про Дарданеллы, кои наверняка закроет султан, про ставки в бюллетене гофмаклера и черт его еще знает, какую бесстыдную нес и неуместную в этих обстоятельствах дребедень (видимо, проигрался вчистую), — вернувшись с похорон, Гаврила Оскарович прошел в супружескую спальню и первым делом увидел в кресле никчемную Дорину «грудку». Монументальное сооружение виртуозной высокохудожественной работы Полины Эрнестовны напоминало обломки выброшенного на сушу фрегата. По обломкам весело прыдали солнечные зайчики от гуляющей под утренним ветерком голубой занавески.

— «Герцль!» — прошептал Большой Этингер. — «Где моя грудка, Герцль?..»

Сел на кровать и заплакал.

Морские кучевые облака дрожали и уносились в распахнутой створе окна отцова кабинета, которое надраивала Стеша. Она стояла на подоконнике босая, в ночной рубашке, в надетой поверх нее подоткнутой синей шерстяной юбке и, намяв в обеих ладонях по газетному комку, с двух сторон визгливо протирала вымытое стекло, навалившись грудью на раму.

Вот!

Вот тут мы нашли некий уместный зазор и для Стеши — встретить в наш рассказ, и без того похожий на лоскутное одеяло, еще и Стешин простой лоскут. Потому что обойтись без Стеши в нашем дальнейшем повествовании о Доме Этингера никак не выйдет.

Что поделат! Еще со времен запевалы-кantonниста все члены этого незаурядного семейства, умея ловко попасть в общий тон любого окружения, вписаться в общество, легко и блистательно перенять внешние приметы чужого уклада, в сокровенной основе своего существования допускали подчас некоторую... двусмысленность, эдакое «но», или во все крохотное «однако», еле заметное «и все же», — обойти которые, не заметив или не споткнувшись, просто невозможно.

Подобно старому солдату, что носил имя Никиты Михайлова, но являлся им не совсем; подобно Большому Этингеру, при появлении на свет названному Герцлем, но не совсем им оставшемуся; подобно тому, как сын его Яша рожден был стать виолончелистом, но не совсем стал им, а дочь Эсфирь уехала в Вену учиться, но доехала туда не совсем, — так, можно сказать, и Стеша была в их доме обычной прислугой.

Но не совсем.

У Этингеров она пребывала с детства, лет с пяти; тогда у них только-только народилась дочь Эсфирь, пугающе маленький младенец («Гора родила мышь!» — развязно шутил легкомысленный папаша Моисей Маранц, раздавая карты для деберца, как называли в Одессе клабор).

Бедная Дора маялась с воспалением своей необъятной груди, в которой для ребенка не нашлось ни капли молока, в доме толкались доктора, кормилица, няня, прислуга, приходящая прачка, и каждый день, вдобавок к газовому отоплению, являлся протопить камин дворничий сын Сергей: младенцу требовалось усиленное тепло.

И в этой-то парной суете и бестолковщине однажды утром в прихожей прозвенел звонок. Дверь, так уж получилось, нетерпеливо распахнул сам Гаврила Оскарович (он торопился на репетицию и уже натягивал в прихожей, азартно притопывая, галоши) — с кларнетным

футляром в руке, в длинном сером пальто с черным бархатным воротником, в белом шелковом кашне, как обычно, до блеска выбритый и благоухающий одеколоном.

На пороге стоял оборванный старик с обгорелыми усами.

Муторно раскачиваясь, диким и одновременно умоляющим взглядом он смотрел куда-то в прилодку поверх каштанового кока Большого Этингера. В руке *обгорелец* держал цыплячью лапку до ужаса тощей девочки, тоже закутанной в какие-то несусветные шматы.

— Все померли, все, — раскачиваясь, бормотал старик. — Люди хорошие, возьмите ее в прислугу, не то и эта помрет.

Тут произошло нечто странно-стремительное: девочка ящеркой скользнула в прихожую за спину оторопевшему Гавриле Оскаровичу, схватила веник за дверью и стала мелкими судорожными движениями подметать паркет.

— Постой... э-э-э... девочка, — растерянно пробормотал Большой Этингер. — Насколько мне известно, нам не нужна... у нас уже, кажется... есть прислуга.

Та продолжала истово подметать, не разгибая тощей спины, ребристой, как спина дракона.

Гаврила Оскарович обернулся к старику. Того и след простыл.

Спустя много лет, когда Стеша выросла и стала рослой, широкой в кости девушкой с льняными, очень мягкими и текучими волосами, которые, заплетя в косу, она выкладывала надо лбом, Гаврила Оскарович любил шутить, что, мол, Стешу к ним привел ангел-заступник всех погорельцев. Сама Стеша ничего, кроме большого огня, не помнила. Она даже не помнила названия села — а может, и не хотела помнить. Покойная Дора называла ее «запоздалой головой» и считала очень глупой. Но, во-первых, видит бог, Дора и сама философских трактатов не писала, а во-вторых, как на дело взглянуть: нырнуть-то в прихожую да в веник вцепиться так, что потом до вечера отцепить не могли, девчонка сообразила. Как сообразила намертво забыть имя своей деревни и даже собственную фамилию. Так что погодим с выводами. Добавим лишь, что одним из самых пленительных образов детства, потрясших ее воображение, стал образ высокого красавца в проеме двери: с плоской черной коробкой в руке, в длинном пальто с поднятым бархатным воротником, в шелковом белом кашне вокруг шеи, удивленно поднявшего красиво изогнутые брови над добрыми, серыми в крапинку глазами.

По случаю появления в доме «вшивой деревенской худобы» Дора устроила скандал, мигрень с рвотой, обморок и слабость. Но отослать

девчонку в сиротский приют все же поостереглась: Большой Этингер предупредил, чтоб, когда вернется после «Травиать», девочка была накормлена, выкупана и успокоена спать. Почему он так уперся в этом случае — он, который никогда не вникал в «кухонные» дела дома, — было непонятно. Может, и вправду ангел погорельцев что-то в уши ему надул, в его музыкально чувствительные уши? Это Дору настораживало и слегка пугало. Но она всегда очень тонко чувствовала, когда ее мигрень сработает, а когда окажется вовсе бесполезной.

Вот так и получилось, что Стешу ни выгнать, ни отправить восвояси не было никакой возможности. Пришлось выправить ей приличные документы и записать все на ту же фамилию — ничего, от нас не убудет, приговаривал Гаврила Оскарович, какая в том беда Дому Этингера?

Было время, он носился с идеей девочку образовать, дать какую-то профессию — например, костюмерши или гримерши (он мыслил только категориями театра, этого бутафорского, но такого грозно-волшебного мира). Куда там! Стеша и вправду оказалась фантастически непригодной к любой учебе. Музыкального слуха у нее не нашлось ни на грош; считать и писать со страшными муками и скрежетом зубовным обучил ее старшенький Яша. Хотела Стеша только ставить тесто на пироги, томить бульон, жарить оладушки, чисто стирать, паркет надраивать до «медовой слезки» (и все это она уже в детстве делала гораздо лучше тогдашней прислуги, глуховатой старой каракатицы Лидии, выгнать которую ни у кого в семье много лет не доходили или, лучше сказать, не поднимались руки); а главное, Стеша хотела мыть и мыть, и высушивать-провеивать меж ладоней, и расчесывать гребнем, и бесконечно лелеять и выплетать, и венцом выкладывать мягкую льняную пряжу своих волос, словно и спустя много лет отмывала их от сажи давнего пожара.

Яша называл подросткую Стешу Лорелей и громко декламировал с насмешливой гримасой, явно притворной: «Их вайс нихэт, вас золь эс бедойтн...» И не зря: прозвище «Лорелея» имела также мраморная наяда в углу их несуразно огромной — метров в сорок — и несуразно роскошной ванной комнаты: мрамор, зеркала, погребальная ладья фараона на бронзовых львиных лапах (папа шутил, что архитектор явно перепутал их ванную с тем же помещением у «девочек» в доме напротив). Неясно, для каких функций соблазнительная наяда приплыла сюда под водительством романтика-архитектора; впрочем, в раннем Яшином отрочестве кое-какую функцию за ней заметили: Дора обратила внима-

ние на то, что мальчик подозрительно долго моется, после чего острые грудки наяды приходится то и дело начищать зубным порошком, так что Большому Этингеру пришлось, запершись с сыном в кабинете, провести недвусмысленную беседу грозным тоном, через каждые два слова строго тыча указующим перстом в окна дома напротив.

Словом, когда Лидия умерла, нанимать новую прислугу не понадобилось — *Стеша успевала*. Как-то так вышло, что она заняла место и горничной, и кухарки — а к чему еще одной бабе крутиться на кухне, когда *Стеша успевает*?

Рецепты многих своих кулинарных шедевров она сочиняла сама, не заглядывая в поваренные книги (лень было буквы составлять, уж очень мудрено там писали длинными словами, все мельтешило в глазах); и за этими рецептами к ней навещали пожилые соседские кухарки, присланные вчерашними гостями. Когда старый Моисей Маранц — не последний, между прочим, в Одессе гурман — прихлебывал знаменитый Шешин супчик с куриными фрикадельками — крохотными, одна в одну, размером с большую пуговицу, — он после каждой ложки отирал салфеткой лоб и выдыхал: «Мама моя!» — фразу, какую произносил только в редкие моменты крупных карточных добыч.

Тихо и прочно Стеша проросла в семью, знала свое место — в комнатке на антресоли, куда из кухни вела деревянная восьмиступенная лестница, и, перебив после ужина посуду, замирала там, никогда не посягая на участие в громкогласой, насмешливой, взрывчато-розыгрышной вечерней жизни семьи.

Взрослых, и даже Яшу, Стеша именвала по имени-отчеству; Эську (младенца, которого когда-то подтирала и нянькала) звала «барышней» и на «вы»; и, хотя так и не переняла Этингеровой легкости и блеска, образной остроты их речи, артистизма, иронии, была все же частицей Дома Этингера — малозаметной, но неотъемлемой и полезной, как впоследствии оказалось, ее частицей.

Как впоследствии оказалось, эта судьбинная «полезность» в свое время была явлена во всей библейской высокой простоте в виде некой белобрысой девочки с разными глазами. И тут предлагаем представить себе Фамарь, терпеливо сидящую у дороги в ожидании Пегуды, родоначальника известного колена. У той ведь тоже хватило ума приберечь доказательство его прелюбодения — посох, кажется, или там перевязь? В нашей истории некий посох тоже имеется и тоже сыграт свою семейную роль — в надлежащее время...

Однако — стоп, ни слова больше, да и некстати это сейчас, когда окно дрожит на весеннем ветру и сквозь прозрачное стекло так тревожно и стремительно несутся в наклонную бездну неба морские кучевые облака.

...Эська сидела за ломберным столиком в двух шагах от Стеши и на уровне глаз видела на подоконнике босые Стешины ступни: крепкие, жилистые, с красными пальцами, с чуть набрякшими от напряжения голубоватыми щиколотками.

Эська писала письмо брату.

Как и подозревала покойная Дора, *эта мерзавка Стеши* была-таки замешана в его делишки, знала, где он обретается, и сейчас, растроганная горем семьи, выдала Эське под страшным секретом — «и ни единым духом папаше!» — адрес Яши в Харькове. Собственно, там и адреса-то никакого не было. Писать следовало на Главную почту, да еще и на имя другое: не на Этингера и даже не на Михайлова, а на какого-то Каблукова Николая Константиновича. Ну, Каблуков так Каблуков, так даже лучше, пусть Яше совсем станет стыдно за все эти недостойные штуки.

Она намеревалась написать брату высокомерное и отчужденное письмо, сухо сообщив о скоропостижной смерти матери, но сидела над листом уже час, а высокомерие куда-то улетучивалось, фразы лепились довольно жалкие, хотелось плакать и ужасно хотелось Яшку увидеть!

«...а еще, — писала она, — вот уж верно говорят: пришла беда — отворяй ворота! — папа недавно возвращался после концерта и в темноте ступил в собачью кучку, ну и — помнишь этот скользкий желтый клинкер мостовой на углу Итальянской и Ланжероновской? — растянулся и повредил руку! Сначала думали, пустяк, растяжение связки — ан нет, все куда серьезнее, и доктор Киссер со станции медицинской помощи считает, что связка порвана, а выздоровление — дело дальней. Пока папе установили в оркестре небольшой пенсион по болезни, но сезон, конечно, загублен, и он ужасно огорчен, прямо убит. Он бы мог преподавать, но даже думать не хочет: говорит, что педагог, не способный продемонстрировать ученику то, чего от него требует сам, — мошенник и пустобрех. Я предложила продать мамины драгоценности — те дивные кольца, еще от прабабушки, помнишь? — но он уперся и твердит, что подобные вещи сохраняются в семье на совсем иные, какие-то “большие спасательные миссии”. И это уж прямо его фантазии! А ты же знаешь, какой он гордый человек! Как не мыслит своей жизни без музыки. Уверен и повторяет без конца, что на будущий год я непременно, во что бы то ни стало поеду к Винарскому в Вену. Все это грустно: на какие средства он рассчитывает? Если б Стеша не выросла в семье (да и идти ей некуда, и ни к чему она не приспособлена), то и она сбежала бы от таких затруднений: все дни напролет ходит в одной и той же юбке.

Но ты не должен за нас беспокоиться. Тут у одной “девочки”, ты ее помнишь, рыженькая, Лида, разговаривает так забавно, “вавакает”, брат — механик в иллюзионе “Бомонд”, и он меня туда предложил — о, не смейся, пожалуйста, актерство тут ни при чем! — на предмет музыкального сопровождения новой американской фильма “Большое ограбление поезда”. Я сначала не могла играть: впечатление сильное, знаешь! Инструмент же совсем бросовый, разбитый и расстроенный. Садись, и вначале кажется — легкие деньги, но к вечеру руки свинцовые, спина раскалывается. Ничего, заработок, однако, недурной. Я потерплю. А еще, Яша...»

Она задумалась. Вдруг вспомнила дачу на Шестнадцатой станции, которую ежегодно они снимали, эту летнюю веселую жизнь со спектаклями и розыгрышами, с толпой сменявших друг друга гостей, и «вечерних», и тех, что оставались неделями; и закружил теплый ветер с Босфора, смешавшись с запахом чистого сухого белья на веревке и горячих камней чисто выметенного дворика; возникли перед глазами круг желтого света от керосиновой лампы на вечерней террасе, солнечный переполох листьев в виноградной беседке, слепящая синь неба в отрепьях летящих облаков и слепящая синь моря в заплатках белой парусины...

Вдруг воссиял большой медный таз на огне: это в саду под яблоней Стеша колдует над вишневым вареньем. В самой середине густой багряной мякоти подбирается, подкипает крошечный вулкан лаковой вишневой пенки. И она, Эска, — восьмилетняя, босая, в цветастом сарафане — стоит с блюдечком в руках, ждет своей порции сладкого — сладчайшего! приторного! — приза. А Стеша месит палкой в тазу вулканическое озерцо, испуганно покрикивая: «Сдайте назад, барышня, ну-ка! Обвариться можно сию минуту, не дай боже!» Но девочка не отходит, замороженно глядя на вулканчик в центре раскаленного багряного озера, облизывая губы, словно на них уже запеклась вожденная лиловая пенка.

И весь длинный летний день — шлеп и лепет, беготня, босая пересып маленьких ног по дощатым полам террасы — там за чаем папа демонстрирует гостям подарок, привезенный из Карлсбада дедушкой Моисеем: трость с золотым, как говорит Ада Яновна, «балдахинном» в виде оскаленной львиной пасти. Набалдашник, конечно, не золотой, а фальшивый, но особый, с сюрпризом: отвинчиваясь, львиная голова ощеривается коротким, но мощным клинком.

— Элегантная вещица, — замечает кто-то из гостей.

— Чепуха, блеф, декорация! — фыркает папа.

Он всегда фыркает при появлении деда — веселого, легкомысленного и рискованного человека с брюшком и курчавыми, как у Пушкина, рыжеватыми бакенбардами.

(Вот уж рискованного, да. Года два как после банкротства переехал в квартиру на четвертом этаже под крышей и все болеет, болеет...)

Вдруг она с необычайной ясностью услышала двойную вьющуюся нить родных голосов: вечерами на даче Большой Этингер с сыном пели дуэтом. Начинал отец без предупреждения, когда после чая наступала пауза, Стеша убирала со стола, мама переходила в бамбуковую скрипную качалку, обессиленно падала в нее и прикрывала глаза. И папа тоже, прикрыв глаза, будто издали начинал, с такой дорожной мечтательной грустью:

— «Од-но-звучно греми-ит ко-о-ло-кольчик... и до-ро-о-о...»

И томительно Яша подхватывал:

— «...И дорога вылитая слегка-а-а...»

Дача на горе стояла, у самого обрыва, с террасы распахивалось море со своей безудержной переменчивой жизнью, с такими закатами, с таким багряным солнцем в багряных волнах. Два тенора взмывали и опускались, как два крыла, озаренные заходящим солнцем:

— «И уныло по ро-вно-му по-олю... разлива-а-а...»

А Яша:

— «...разливается песнь ящичка-а-а-а...»

Разные были тенора. У отца — глубокий драматический, очень чувственный, у сына — нежный и юный, переливчатый. Пели так только на даче, «на воле», где всё — как бы игра, понарошку, дурачество — лето... (Яша очень застенчивый был мальчик, чужих стеснялся.) Но сила чувств такая, что у обоих потом влажные глаза, и оба их одинаково прячут за небрежной улыбкой. Такая певчая пара была — казалось, тут не только домашнее, теплое, а что-то более глубинное, более мощное... голос рода, что ли... Вот оно, так ясно, так больно: закат, слабый рокот волн из-под обрыва, вспышки маяка вдали, а на террасе — круг желтоватого света от лампы. И два упоительно высоких голоса, взмывающих и парящих, как две чайки — над морем, над степью:

— «...и замолк мой ящичек, а дорога... предо мной далека, да-а-але-ка-а-а...»

Эське хотелось написать: «Яшка, возвращайся ты, ради бога, пожалуйста, Яшенька, вернись, мы с папой такие одинокие!» — но она упрямо поправила перед собой листок и продолжила: «Еще у меня появилась ученица. Внучка пристава Жаркова. Девочка, как говорила покойная мама, “запоздалая”, малоспособная, но старательная...»

В окне дома напротив раздернулись малиновые шторы, изнутри толкнули раму, высунулась растрепанная голова одной из «девочек».

— Во денек — шик! — крикнула она куда-то в комнаты. — Просыпайся, Ангеля!

Оттуда невнятно отозвался заспанный голосок, а другой, мужской голос густо прокашлялся и сообщил кому-то невидимому:

— Франца Фердинанда застрелили!

— Которого Фердинанда? Лысого? — донесся снизу, со двора, тонкий — сразу и не разберешь, женский или мужской — голос. — Кельнера с Ланжероновской?

— Та не, прынца венхерского. О тут пишут: «Одна пуля пробила воротник мундира эрц... эрцгерцоха... и застряла ув позвоночнике. Другая пробила корсет херцохини и застряла ув правом боку... скончался в беспамятстве...»

— А стрелял-то кто?

— Какой-то Хаврила, тоже прынец... не: Принцып — то фамилие.

— Жид?

— А я знаю? Пишуть, студент.

— Значит, жид...

Степа кончила надраивать стекло, ставшее совершенно невидимым, бросила на пол газетные комки и следом прыгнула сама, в середку солнечной лужи, упруго и весело шлепнув босыми ступнями о паркет.

Эська приподнялась, захлопнула окно и продолжала: «...Девочка старательная, хоть и туповатая, так что в первую голову думаю дать ей упражнения на беглость пальцев...»

5

Нет, Яша в то время никак не мог вернуться в родную семью. Яша был страшно занят: он и сам мог бы сыграть одну из главных ролей в киноленте «Большое ограбление поезда», и убедительнейшим образом сыграть, тем более что партнерами в этой умопомрачительной ленте у него были бы самые разные актеры: от Якова Блюмкина с его «железным отрядом революционеров-интернационалистов» до будущего батьки Махно в эпоху его третьего военно-политического соглашения с большевиками.

В Одессу Яша вернулся в незабываемые годы революционного разгула борьбы всех со всеми. Рассорившись и расставшись с другом Блюмкиным, он создал собственную боевую анархистскую дружину,

которая входила в подпольный ревком, где каждой твари было по горстке — большевиков, анархистов, левых эсеров...

Вряд ли Эська узнала бы брата, столкнувшись с ним на улице или даже в подворотне собственного дома, где он, к слову сказать, не появился ни разу. Уже в то время он окончательно взял себе солдатскую фамилию деда, Михайлов, и вровень с фамилией полностью поменял облик — заматерел, оброс рыжеватой щетиной, вымахал до отцовской коломенской версты, полностью отринув отцовскую обходительность и щепетильность в вопросах морали. Видимо, Этингерова способность к мимикрии требовала перевоплощений в совсем иных декорациях эпохи.

А на бедность декораций в те годы актерам жаловаться не приходилось — кровавый, долгий, разрушительный шел спектакль: Одесса то становилась «вольным городом», то именовалась «Одесской республикой», то провозглашалась столицей «независимого Юго-Западного края». Казалось, сюда со всей простертой в безумии державы стекались отбросы, чтобы привольно гнить и бродить, вспухая язвами и вонью, изливаясь в Черное море реками крови и гноя. Бушлаты, гимнастерки, седой гармоникой сапоги, на Екатерининской — раздавленное пенсне в двух шагах от перевернутой мужской галоши...

В городе орудовали банды налетчиков и толпы вооруженных дезертиров; через него прокатывались гайдамаки, белые, красные, румыны, французы и сербы. Одних только анархистских союзов, федераций, групп и дружин насчитать можно было с десятков, и всем находилось дело: взорвать типографию, ограбить пакгауз, пристрелить прямо в ателье какого-нибудь фотографа с Большой Арнаутской — «буржуя, зажившего на крови рабочего люда».

И тут уж Якову Михайлову с его боевой анархистской дружиной пришлось где развернуться. Он имел разветвленную сеть осведомителей, лично завербовал нескольких офицеров деникинской контрразведки, и — артистизм всегда был присущ отпрыскам Дома Этингера — своих ребят посылал на задания в форме Добровольческой армии. Председатель ревкома товарищ Чижев воротил разборчивый нос от дружины Михайлова — его, видите ли, коробила сомнительная репутация этих «ребят», по большей части одесских налетчиков. Зато когда тот же Чижев был арестован контрразведкой — кто выкрал главу ревкома с тюремной баржи в порту? А когда некий Александров, присланный в Одессу из самого ЦК РСДРП(б), сбежал с кассой ревкома — кто выследил и выудил его прямо из ресторации, где вор и предатель гулял с компанией подвыпивших деникинцев? Яков Михайлов, о чьей жестокости ходили невероятные слухи. С провокаторами Яша расправлялся лично, и самые крепкие из его «ребят» предпочитали отлучиться поку-

рить, дабы не слышать, что за звуки извлекает бывший виолончелист из человеческих жил.

17 февраля 1919 года дружина Михайлова взорвала штабной вагон с союзными офицерами. Тут Яша счел разумным исчезнуть и далее всплывал самым неожиданным образом, как поплавок в бурном потоке времени.

Помирившись с Блюмкиным, подался создавать с ним ревкомы на Подолье, возглавляя один из партизанских отрядов в тылу петлюровцев и, в отличие от друга, не попал к ним в лапы, а успел бежать в последнюю секунду, голыми руками задушив несговорчивого путевого обходчика, не пожелавшего отдать беглецу свою кобылу.

* * *

Впервые он дал о себе знать семье в тот вечер, в иллюзии на Мясоедовской, когда после вечернего сеанса перед Эськой возник и навис над стареньким фортепиано детина в кожаном плаще, с кенарем Желтухиным в клетке.

— ...А заодно привет от брата Яши, — сказал детина. И эти слова оглушили, полоснули и распахнули Эськино сердце, как рану.

Вначале она подумала, что посланник — а детину звали Николай Каблуков (тот самый Каблуков, на чье имя она писала когда-то Яше длинное наивное письмо, оставшееся без ответа) — просто воспользовался родством товарища для личного удобства: может, переночевать надеялся, кто его знает. Однако Эська была весьма строгих понятий: домой привела, чаем, конечно, напоила, а вот ночевать — извините, сказала твердо, это не в моих правилах.

Да и папе, как заметила она едва ли не с порога, гость почему-то не глянулся, хотя от кенаря папа пришел в неописуемый восторг: стал напевать отрывки из арий, пытаясь с ходу научить того сложнейшим модуляциям.

И тут гость, не присаживаясь, не сняв своего бронированного плаща, прочитал целую лекцию (вернее, это была вдохновенная баллада, так вибрировал и вздымался волной его голос) о том, что за диво дивное русская канарейка. «Соловьем разливался», — говорил позже Гаврила Оскарович с усмешкой.

Оказался Николай Каблуков страстным канареечником и *дителем* — ловцом певчих птиц. Впрочем, и лошадиником тоже. У его отца прежде, «до событий», был, оказывается, конезавод. «Между прочим, наши всегда на скачках призы брали; и у вас тут, на ипподроме Новороссийского общества...» В лошадях он понимал, любил их самозабвенно — пове-

рите ль, ушел из конной бригады Котовского: не мог видеть, как губили там лошадей.

Стеша накрыла к чаю на ломберном столике в кабинете Гаврилкарыча (большой обеденный стол со стульями, с вазельями «ДЭ» — «Дом Этингера» — в изогнутых высоких спинках, остался в столовой, куда на днях вселилась семья какого-то портового начальника).

За чаем гость говорил много, охотно и вообще чувствовал себя как дома. Стешины знаменитые оладушки уплетал своеобразным способом: брал двумя пальцами целую, складывал вчетверо конвертиком и отправлял в рот, словно письмо опускал в прорезь почтового ящика. Стеша с минуту понаблюдала этот процесс, уважительным взглядом провожая плавное движение щедрой руки. Затем повернулась и отправилась на кухню — жарить следующую порцию.

— Страсть к лошадям — это у нас от предка-цыгана, — продолжал Каблуков. — Не простой был цыган, с тремя фамилиями.

— Следы заметал?.. — заметил Большой Этингер, со значением бросив на дочь свой говорящий «таранный» взгляд.

Эське же немедленно пришло в голову, что в ее семье тоже знают толк в смене имен, и она поспешила сойти со скользкой темы.

— А он заговорит? В смысле — птичка? — и кивнула на клетку с кенарем, который все прыгал и глазиком постреливал; и смутилась от того, как насмешливо, как ласково-снисходительно поглядел на нее Николай.

— Нет, — ответил он. — Увы, кенари поют, и этого вполне достаточно. Бывали случаи, когда они перенимали пару слов с хозяйского голоса, но это должен быть особый голос, чьи вибрации совпадают с птичьими.

— Такой? — спросил папа, глубоко вдохнул и легко взял самую высокую свою ноту, и держал ее так долго и привольно, слегка улыбаясь глазами, развернув кисть правой руки ладонью вверх — приглашая гостя взять еще оладушку, — что тот даже рот разинул, будто примеривался ноту подхватить и проглотить. А Желтухин — тот страшно взволновался и пронзительно запищал, раскачивая клетку. Тогда папа, наконец, шумно выдохнул — как затекшую ногу переменял, — и все рассмеялись.

Но уже в тот первый вечер между отцом и Николаем Каблуковым произошла тяжелая сцена, которую и вспоминать не хочется: все дело в Яше, в его наглом поручении.

Каблуков называл его «деликатным» — видимо, чуял, что миссия не из простых, дело семейное... И как на грех, вначале случилась еще

одна заминка: гость достал из нагрудного кармана френча и торжественно выложил на скатерть монету — тот самый памятный белый червонец, который Яша прихватил, покидая отчий кров через окно кухни. Станный парламентар, он будто предъявлял монету вместо белого флага. Гаврила Оскарович нахмурился, усмехнулся и промолчал. На червонец не глянул. И гостю при такой реакции хозяина помолчать бы, погодить с дальнейшим поручением. Но тот не разбирал хозяйских настроений, — человек сторонний, далекий от привычек и привязанностей Дома Этингера. Долил себе чаю из чайника, отправил за щеку целую сушку и, посасывая ее, невозмутимо продолжал с оттопыренной щекой.

Речь шла о трех книгах из семейной библиотеки — той, что положил начало еще старый кантонист, а продолжил собирать Гаврила Оскарович. Собрание было не так чтоб очень обширным, но отборным, большей частью музыкального толка: старинные клавиры, книги по композиции, по истории музыки, биографии великих исполнителей. Каждый фолиант помечен фамильным экслибрисом: могучий встрепанный лев, чем-то напоминавший юного Гаврилу Оскаровича, с лапой на полковом барабане, а на том раструбом вниз — полковая труба. И просторной аркой над ними буквы-кубики: «Дом Этингера».

Было и несколько ценных еврейских книг. А три среди них — прямо жемчужины: «Карта Святой земли», составленная Якобом Тиринусом и изданная в Антверпене в 1632 году, Пармский Псалтирь XIII века и редчайшая редкость, гордость коллекции старого солдата — книга неизвестного автора с забавным названием «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благодать и райскую сладость», причем название напечатано по-русски, но сам текст внутри — на святом языке. Весь изюм, однако, не в названии сидел, а в том, где книга напечатана: в личной типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого — того вольнодумца, что еще в XVIII веке провозгласил в своих владениях на Подолии республику, чеканил собственные деньги, отпустил на волю всех своих крепостных и учредил у себя полную свободу всех верований. По свидетельству потрясенных современников, он разгуливал, облаченный в белую тогу, с венком на голове, и поклонялся богине плодородия Церере. А в домашней типографии печатал самые диковинные фолианты — в том числе вот и еврейские.

Эти-то бесценные книги и попросил у отца через своего порученца (скажем точнее, затребовал — просить он давно разучился) большой чекистский начальник Яков Михайлов.

Гаврила Оскарович пришел в неописуемую ярость.

— Что?! — крикнул он шепотом. — Ему наследства... наследства ему захотелось?! Да я ради образования своей прекрасной, своей нигилистичнейшей... я... я их ради дочери не продал!!! Передайте этому негодяю!.. да нет, что там!..

Схватил червонец со стола и швырнул на пол, под ноги гостю. Вскочил и выбежал вон из комнаты, хлопнув дверью и топая так, что взволновалась и долго укоризненно качала подвесками любимая Дорина люстра.

Словом, чай тихонько допивали Эська с гостем вдвоем — если не считать Стеши, которая появлялась, чтобы добавить еще два-три кусочка колотого сахару на блюдечке (драгоценность!) или поспевшие оладушки. Она всегда, даже в голодное время, ухитрялась мастерить эти оладушки из самого бросового продукта, вперемешку с давлеными сухарями — а получалось восхитительно вкусно.

Каблуков же невозмутимо поднял червонец с полу и как ни в чем не бывало положил обратно в карман: мол, что ж поделать — на нет и суда нет, подберу-ка, чтоб не валялся. И сунул за щеку очередную сушку.

Так что, несмотря на душевный вечер, несмотря на жалостную и упительную песнь кенаря про «стаканчики граненья», Эська вскоре выпроводила гостя на ночь глядя, с наилучшими пожеланиями.

Но Николай Каблуков никуда не уехал, а наоборот, стал ежедневно приходить в иллюзион на последний сеанс, дожидаясь Эськи. Очень полюбил «Полонез» Огинского, и если стремительное действие фильма не подходило под благородную польскую грусть милой его сердцу пьесы, Эська потом специально для него исполняла «Полонез» раза три подряд, в романтически пустом темном зале.

Они гуляли допоздна, чуть не всю ночь. На трамвае добирались до дачи Дунина, где с верхней площадки во весь дивный размах открывалась алмазная зыбь гаснущего моря, широкий угольно-малиновый закат. Вблизи у берега сновали лодки с рыбаками; подальше, волоча за собой четкий пенный след, проходил пароход какой-нибудь аккерманской или херсонской линии, а совсем вдали, на меркнушем сизокрылом горизонте восходил дымок парохода или призрачной бабочкой повисал парус каботажного судна.

От дачи Дунина брели по берегу до Аркадии. Шли мимо «скалок» — пластов рыжего ракушняка, источенного прибором, обросшего водорослями, с бесчисленными пещерками — укрытиями рачков и крабов. Над волнорезами вскипали барашки легких бурунов; рыба чешуя луны с наступлением темноты проблескивала в беспокойной волне.

Желтые всполохи маяка на Большом Фонтане равномерно обжигали черное глубокое тело воды, а в туманную ночь пронзительно кричала паровая сирена.

Николай скупо рассказывал про Яшу — в основном героические эпизоды, понимая, что сестре, да еще музыкантше, не стоит вываливать всей мужской революционной правды о брате.

Однажды — они гуляли на Приморском бульваре, где чуть не из-под ног стрижами вычиркивали мальчишки-разносчики с криками: «Одесский листок!» «Одесская почта!» «Требуйте свежую “Почту”!» — и на каждом шагу попадались лавки менял, а буфеты шли один за другим, и всюду торговали пампушками и булочками, — она спросила:

— А вы, Николай? Почему остаетесь здесь, а не возвращаетесь к Яше?

Он улыбнулся и с ответом замешкался, и на мгновенье она вообразила, что он выдохнет сейчас — из-за вас, мол, Эсфирь Гавриловна (позже, вспоминая эти дни и замкнутую улыбку в его на первый взгляд простодушных глазах, не могла простить себе доверчивой глупости).

Он сказал:

— Вы когда-нибудь вслушивались в птичий говор? Вон, голубки: они всегда начинают открытым звуком, а в конце проборматывают, заминают: «Якакразоттуда... якакразоттуда...» — И легко, но серьезно пояснил, и она видела, что он искренен: — Я, знаете ли, человек бездумный, бездомный, необязательный. Люблю сняться с места — вдруг; сам потом не знаю — что меня подняло. Проснусь утром и думаю — да что эт я тут задержался? скорей полечу-к дальше... Это от моего промысла такое беспокойство, понимаете? Я ведь — дитель, лошади и зверолов. — И снова улыбнулся абсолютно невиноватой улыбкой, и стал рассказывать, как пасутся в мглистых потемках луга расседанные кони, позвякивая и мерно шурша травой, — с таким влюбленным лицом, что становилось ясно: никакой невесты ему не нужно.

Была в этом великане, при всей угрожающей стати и грубоватых чертах лица, неожиданная птичья легкость в повадке и птичья нежность: в разговоре, в телодвижениях. Несмотря на военный прикид и даже маузер в деревянном ящике-прикладе под полкой, он казался человеком из какого-то иного мира, не связанного с миром окрестным, насильственным, ежедневно предъявляющим права на твою душу и жизнь. Вдруг озадачивал каким-нибудь неожиданным наблюдением: уверял, что в Одессе выразительные водосточные трубы — смотри-те-ка, вон одна, суставчатая, с обломком, и тот приставлен, как протез к колену. А та вон — как штанина, смятая в «гармошку».

Он ей нравился. Особенно в этом длинном плаще, что придавал ему полководческий вид: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник под горло.

Однажды затащил ее в фотографию и уговорил сняться на карточку — а ведь она терпеть не могла всех этих ненатуральных поз! В центре большой пыльной студии громоздился желто-лиловый фанерный утес с проросшей у подножия пенной грядкой морского прибойя; над ним в полутьме что-то попискивало. Подняв головы, они обнаружили под потолком клетку со скучавшим кенарем. Николай умилился, потребовал клетку снять и за три минуты каким-то чудом — легкими нежно-вопросительными свистками — кенаря «разговорил». И упросил Эську сняться вместе с птичкой. Сетовал только, что это не великий маэстро Желтухин, а посторонний заурядный певец. Но девушка улыбнулась и ласково потянулась губами к птичке. Так карточка и вышла — ужасно манерная. Эська даже огорчилась: этакое дурновкусие!

— Хотите — забирайте ее себе, — сказала ему. Он и забрал.

Прижал к губам эту глупую карточку и положил в один из карманов бездонного своего плаща.

Она уже позволяла ему себя целовать — целовал он осторожно, будто прикасался к птенцу; звал ее уменьшительными именами смешным умиленным голосом. Перебирая ее пальцы, лежащие в его огромной ладони, изумленно растягивая:

— Па-а-альчики... — и, опуская глаза на крошечные и вправду обольстительно маленькие ее ступни в мальчиковых ботинках: — Но-о-ожки...

Тогда она, сердясь и смеясь, сильно стискивала его ладонь, а он притворно ойкал.

— Я — пианистка, — удовлетворенная экзекуцией, объясняла Эська. — У пианистов руки, как у борцов.

И уже волновалась, когда к концу последнего сеанса не видела в зале высоченной, как башня, фигуры, отбрасывающей на экран угрожающую тень.

Понимала, что все стремительно катится к чему-то банальному, но такому остро-счастливому, с прерывистым дыханием, со слезами в горле...

...пока однажды днем в перерыве между сеансами не выскочила из иллюзиона купить у торговки пирожков «на перекус» — и вдруг не увидела этих двоих. Поначалу решила — вздор, случайность, глупое

совпадение. Но уже знакомая ей слитность фигур (что это было давно-давно? — ах да, папа когда-то, в ее детстве, с некой прильнувшей к нему дамой, так очевидно прильнувшей, что — гимназистка, соплячка — Эська все поняла).

Они оказались замечательной парой, и заметно было, что гуляют не впервые: Николай Каблуков, дитель и лошажник, и рослая Степа с платиновым блеском в промыгтых косах и таким белокожим лицом, такими наивно-победными карими глазами, что Эська, впервые увидев ее на улице со стороны, только ахнула: Степа-то у нас — красавица!

Вот только не стоило ей тащить концертную юбку из «венского гардероба»: шикарно просторная на Эське, с вихревым шелковым шелестом, юбка Степе была и коротка, и тесна, а крепкие и набрякшие Степины щиколотки явно стоило прикрывать. К тому же стеклярус по подолу, благородно праздничный под концертными огнями, так дешево и плоско блестел на полуденном солнце.

Оставив торговке кулек с пирожками, Эська спокойно и решительно двинулась к ним наискосок через площадь. Увидев ее, Степа окаменела, забыв вынуть руку из-под локтя дителя. У него же в бровях возник некий птичий переполох. Наверное, мелькнуло у Эськи, голубчики сочли, что *трудолюбивая малютка наяривает амурскую волну, не поднимая зада*.

Ну что ж: вечерняя возлюбленная всегда романтичнее дневной.

— А ну, снимай! — тихо приказала Эська. — Снимай мою юбку!

Сказала просто так, чтоб оконфузить, — ну не стала бы она, в самом деле, позорить эту дуреху посреди улицы. Но *запоздалая* Степа, всегда странно почтительная к «барышне», побледнела дивной сметанной бледностью и принялась обреченно стаскивать с крепких ляжек тесную ей юбку.

— Дура! — крикнула Эська, залившись краской, не глядя на Каблукова, щебечущего какой-то вздор. Впервые в жизни она так грубо обрапалась со Стешей. — Иди домой, дура!

И не оглядываясь на этих двоих, не обращая внимания на вопли торговки, скрылась в дверях иллюзиона: любовь-морковь, а через пять минут начинался сеанс. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...»

* * *

Ту ночь девушки проплакали — каждая в своем углу. В то время квартиру Гаврилы Оскаровича еще не свели к одной лишь Эськиной комнате и Степиной антресоли, хотя супружескую спальню Этингеров уже занимал шофер какого-то портового начальника, с женой и двумя

шумными и толстыми мальчиками-близнецами Юркой и Шуркой, а в Яшиной комнате поселилась стенографистка Управления железной дороги со старой теткой. Просторную залу для приемов и смежную с ней столовую уже года три как отгородили стеной от остальных комнат и пробили новую дверь прямо во двор, на внутреннюю галерею. В кухне в разные углы втерлись три мерзких липших стола.

За Этингерами остался кабинет, прибежище отца, смежная с ним Эськина комната да «на задворках» кухни — Степина каморка, где она сейчас и рыдала — смачно, обстоятельно и вдумчиво.

Она стояла перед выбором и до рассвета должна была решительно определить своей *запоздалой* головой правильную дорогу. Ведь, откровенно говоря, была уже Стеша перестарком.

На улице вслед ей восхищенно свистели матросы, и делали разные пиковые замечания торговцы на Привозе. Дважды звал ее замуж сын дворника Сергей — новая власть назначила его управдомом и выделила комнату в полуподвале. Может, и стоило согласиться? Но кривоzubый, хлипкий и одновременно толстощекий, с противным утиным носом и похабными глазками Сергей был так далек от образа высокого красавца в длинном пальто и белом кашне! Сравниться с тем мог лишь Николай Каблуков — не красавец, но великан и любезник.

На рассвете она притихла и забылась, почти умиротворенная: она выбрала Этингеров. С ними было понятнее и привычнее, даже в нынешнее заполошное время, тем более что Коля за эти несколько дней их внезапной любви ясно дал понять, что передвигаться по жизни предпочитает налегке — птичья, мол, натура. Говорил, что теперь в Туркестан подается — с басмачами биться. А где он, Туркестан? — спросила Стеша. Каблуков не ответил, но стал увлеченно рассказывать, какие птицы водятся в тех краях и как в богатых лавках вешают там клетку с канарейками — для завлекательства людей.

А вокруг — зеркала, зеркала, и птичка видит в них себя, а думает, что это другая птичка. И поет ей любовную песнь.

Даже удивительно, насколько громил с маузером под полой плаща предан такой малости, как канарейка!

Эська же плакала беззвучно и яростно, вжимаясь лицом в подушку, мокрую уже с обеих сторон. Тем более непонятно — как мог услышать ее папа. На рассвете он постучал и тихо вошел: в старой домашней куртке с брандесбурами поверх пижамы, по-прежнему красивый — глаза грустные, серо-красчатые, растрепанная снежная прядь запорошила лоб.

Сел в кресло у постели дочери, включил настольную лампу и тихо сказал:

— Я так и знал, что ты вторилась в этого прощельгу, в ловца певчих птичек!

— Папа, оставь, — взмолилась гундосая Эска, щуря в свете лампы опухшие красные глаза.

— Кстати, — продолжал он, — с полки исчезли все три запрошенных Яшей книги. Это как три фамилии предка-цыгана, прости за метафору. Как думаешь — дитель сам украл или подговорил нашу бедную Стешу, задурив ей головку?

— Папа, оста-а-авь! — простонала дочь.

— Нет, позволь, я закончу, — возразил он тусклым голосом, баюкая левой рукой большую правую — та по ночам сильно его донимала. — Ты должна понимать, что перед тобой — большая дорога артистки, и свой талант ты обязана беречь и ограждать от этой быдлянкой жизни. Всю эту грязь и муть — смитье бездыханное, — их смоев время, а тебе скоро в Вену...

— Папа, оставь!!! — взвизгнула дочь и кулаком принялась лупить подушку, приговаривая: — Вот тебе — Вена! Вот тебе — Вена! Вот тебе — Вена!!!

Он молча поднялся и вышел.

* * *

...А Яша в те годы уже перебрался в Москву, поближе к чудесно воскресшему (переломанному, но недобитому петлюровцами) Блюмкину. Тот взорлил неожиданно и пугающе ярко: из эсэра и анархиста — прымком в начальники личной охраны и в секретари самого наркомвоенмора Льва Давидовича Троцкого! Приобрел столичный лоск Яков Григорьевич, оброс приятелями из артистической среды, сам, говорят, стишки пописывал, актрискам посвящал... Как-то успевал на всех фронтах — атлет, кутила и деляга, искусный надувала, неуловимый разведчик, беспощадной жестокости чекист, звезда московской богемы.

Но главное, там, в ВЧК, Блюмкин создал новый отдел — иностранный, внешней разведки, по сути — первую советскую шпионскую сеть за границей, и, едва добравшись до Москвы, Яша немедленно и жарко ворвался в вихрь этих лет: какое-то время крутился на орбите Блюмкина, даже уходил с ним в Персию, где под видом двух дервишей за четыре месяца они подготовили революцию в северных провинциях, свергли мятежного шаха и сколотили из сомнительных отбросов компартию, попутно провозгласив Гилянскую советскую республику.

Вообще, в те годы Яша редко навещался в Россию. Его немецкий и французский (ау, милая старая кляча Ада Яновна Рипс!) отдавали простецкой прямоотой, отличавшей незамысловатый люд. Так что, устранившись механиком в какую-нибудь берлинскую автомастерскую или шофером в текстильную фирму в Цюрихе, Яша всюду выглядел уместно и органично. Как говорила покойная Дора — «за словом в карман не лез».

...Три дедовых книги, изобретательно добытых Николаем Каблуковым из кабинета отца при помощи Стеши, Яша вовсе не считал наследством. Наследство — любое — он презирал, в старинных манускриптах большого толку не видел. Эта, по его мнению, *местечковая ветошь*, эта *допотопная ружлядь* (а похожие книги собирали *товарищи* по всей России, потроша синагоги, навещаясь даже в закрытые фонды Государственной библиотеки) должна была послужить наиважнейшему делу: по заданию начальника ИНО ОГПУ Меира Трилиссера Яков Блюмкин был заброшен в Палестину под именем Якуба Султан-заде, торговца еврейскими древностями. Приторговывая антиквариатом, он в короткий срок должен был создать большую разведывательную сеть и боевое диверсионное подразделение: молодая и цепкая советская власть намеревалась хорошенько потрепать англичан на Ближнем Востоке.

Какое-то время Трилиссер — а он предпочитал Якова Михайлова «этому трепачу и позеру» Блюмкину — склонялся отправить их в Палестину вдвоем, дабы Яша за Блюмкиным приглядывал. Но Михайлов вовремя учуял опасность и выкрутился: мол, ни иврита, ни арабского, ни фарси, на которых бегло говорил полиглот Блюмкин, он не знает; может провалить дело.

К тому времени, побывав с Блюмкиным в Монголии, где они помогали тамошним товарищам устанавливать советскую власть, Яша насмотрелся на выкрутасы дружка юности (без выпивки и наркотиков, к которым пристрастился в Афганистане, тот и дня не начинал) и вовремя отшатнулся. В отличие от хвастливого и упоенного собой Блюмкина, был Яков Михайлов угрюм и молчалив, взвешивал каждое слово, близкими приятелями и длительными сердечными связями не обзаводился. И после безобразной новогодней вечеринки в ЦК монгольской компартии, где перепивший Блюмкин блевал на портрет Ильича и призывал местных коммунистов пить за Одессу-маму, тем же вечером написал обстоятельное письмо Трилиссеру: подстраховался.

Яшу явно хранила судьба: очень вовремя он это письмо отправил и вовремя вновь расстался с другом мятежной юности — как раз перед поездкой того в Константинополь, перед его оплошной встречей с изгнанником Троцким.

Так что последующий арест Бломкина и неожиданный, ошеломивший многих чекистов его расстрел («А ушел красиво, — одобрительно крякнув, рассказывал Яше один из *исполнителей*. — “Стреляйте, — кричал, — ребята, в мировую революцию!”») Михайлова не затронули ни в малейшей степени. Но многому научили. И в дальнейшем он мудро предпочитал заграничные командировки высоким назначениям в аппарате ГРУ.

И все же это изрядное чудо или просто Этингерова звезда, что Яков Михайлов уцелел аж до конца 40-го — и это в кровавых-то чистках, следовавших волна за волной, в калейдоскопической смене аппарата разведчиков! Возможно, высокое качество добываемой им секретной информации удерживало Центр от последнего шага. Во всяком случае, к тому времени уже были вызваны в Москву и ликвидированы большинство нелегальных резидентов, от которых и через которых шла информация о подготовке Германии к войне. Когда же Михайлов получил приказ срочно вернуться «домой», он недели три еще отбrehивался телеграммами о «чрезвычайной загруженности». Хотя уже прекрасно все понимал.

Спустя столько лет этот волк, гонимый тревожной памятью и обреченным предчувствием конца, решил напоследок повидать семью. Хотя от семьи в те годы остались Гаврила Оскарович, *Городской Тенор*, да Степа, *запоздалая голова*.

В Эскиной же судьбе случился тот самый танцевальный поворот на каблучке: ей предложили место концертмейстера у некой испанской танцовщицы — работа напряженная, гастрольная, приписанная к подмосковной филармонии, так что, месяцами пропадая из дому, она разъезжала по невообразимым маршрутам, о чем будет отдельный железнодорожный припев.

* * *

С Гаврилой же Оскаровичем произошла, увы, прискорбная история. Кто бы мог подумать, что такое случится с умницей, насмешником, трезвейшим человеком, примером иронической уравновешенности мыслей и поступков! Но поскольку перемена происходила весьма постепенно, даже близкие поначалу не обратили внимания на первые странности в его поведении.

Началось с того, что Большой Этингер, как сказала бы покойная Дора, *вернулся неть*.

Стоит ли говорить, каким ударом для блестящего кларнетиста, тонкого музыканта, любимца всего оркестра стало расставание с Театром.

Тут жизнь рухнула, тут душа покатила в бездну растерянной тоски и полнейшей ничтожности — не говоря уж о постоянных муках при одной лишь мысли, что любимая дочь вынуждена зарабатывать на хлеб в презренном иллюзионе целодневным брэнчанием, сопровождая суетливую дробную раскорячку этого фигляра, как его... Чарли!

И однажды, когда после рабочего дня Эська валялась на кровати, а по бокам от нее на складках клетчатого пледа дохлыми рыбками валялись ее отработанные руки, Гаврила Оскарович вошел и, потупясь, сообщил, что, пожалуй, нашел выход из положения. Ты, надеюсь, не забыла, доченька, о моем голосе? Я ведь зубок знаю весь теноровый оперный репертуар. Да и романсов — сотни две. Что, если мне попробовать петь?

— Где петь, папа? — устало отозвалась Эська, не в силах пошевелиться. Но взглянула в убитое лицо отца и подумала: а в самом деле, почему бы и нет? Можно поговорить с директором. Пусть в фойе, где публика перед сеансом шатается, неважно. Дело не в деньгах, но чем-то занять его. — А знаешь, папа... отличная идея, правда!

Гаврила Оскарович оживился, прочистил горло и очень славно пропел своим драматическим тенором арию Садко из одноименной оперы Римского-Корсакова, широко поводя рукой и свободно держа финальные ноты. Эська даже вяло плеснула ладонями, присев на кровати. Неплохо, неплохо, подумала она. И даже очень хорошо!

*Тут уместно напомнить — тем, кто запомнил, — что драматический тенор в диапазоне охватывает простор от ля большой октавы до до второй; что имеет он еще одно название — *di forza*, «сильный», и это объясняет многое: в частности, недюжинное его место в оперном репертуаре. Это для него, для драматического тенора, написаны партии героические, требующие голосовой мощи и ярких тембровых красок. Радамес. Зигфрид. Отелло. Хосе как-никак! Да, это страстные характеры, незаурядные личности — одним словом, люди, способные порвать с прошлым и перешагнуть постылую черту.*

Через три дня Гаврила Оскарович в отпаренном и отглаженном Стешей костюме с бабочкой, с восставшим серебристым, хотя и несколько поредевшим коком, исполнял перед публикой синематографа, явившейся на очередной сеанс, романс Чайковского «Средь шумного бала».

Эська, само собой, аккомпанировала. Добившись папиной занятости, она потеряла свои пятнадцать минут отдыха между сеансами, но

была утешена оживленным папиным лицом, блеском в чудных крапчатых глазах и вернувшейся статьею.

Теперь Гаврила Оскарович целыми днями репетировал, вспоминал теноровый репертуар, по утрам, как и положено, распевался.

Впрочем, пел он целыми днями: пел, прогуливаясь по коридору, пел, просматривая «Одесские новости», вокальным комментарием сопровождая какую-нибудь заметку «нашего корреспондента в Херсоне». На вопросы Эськи или Стеши как бы шутя пропевал подходящие по смыслу фразы из арий. Это было утомительно, но еще объяснимо: детство вспомнилось, мечтательно объяснял Гаврила Оскарович, так и слышу золотые переливы отцовского голоса.

Эська по инерции радовалась. Ну, это такой душевный подъем, объясняла она себе.

Душевный подъем, однако, должен был рухнуть в тот день, когда директор синемаатографа выставил на улицу обоих. У «великого немого» прорезался голос; старые ленты с серенькой моросью блеклого экрана слетали с репертуара, «Трансвааль» вышел из моды; двадцатый век в очередной раз выморгнул соринку из своего бездонного, чудовищно выпученного, равнодушного глаза.

Эська вначале приуныла, но вскоре нашла концертмейстерские часы в одной из частных балетных студий. К тому же ей обещали место на кафедре вокала в реорганизованной консерватории. Она бегала по ученикам и, когда подворачивалась халтура, аккомпанировала певцам на летних площадках: в Александровском парке, на открытой галерее при ресторане на даче Дунина, в курзале на Куяльницком лимане.

Папа же продолжал распеваться.

«Приветствую тебя, мой дру-у-уг!» — пел он по утрам под дверь Эськиной комнаты.

Это нормально, это бывает у сангвиников, успокаивала себя дочь. Но зароптали соседи, и ропот нельзя было назвать кротким: люди отдыхают после ночного дежурства, чего козлом-то голосить без продыху? В милицию захотел, артист, ебена мать? Эт мы скоренько организуем.

К тому времени соседей прибавилось. Огромная ванная комната квартиры Этингеров раздробилась на целых три комнатки, а для собственно пролетарской гигиены остался тесный закуток с умывальником.

Мечтательную наяду «Лорелею» по просьбе жильцов навестил управдом Сергей и за небольшую мзду три часа отбивал и крошил киркой ее незащитное мраморное тело. Долго на помойке валялись острые грудки и нежный конус живота, густо раскрашенный внизу

углем дворовыми паскудниками; зато на месте Лорелеи освобожден угол, немедленно отделенный ширмой для чьей-то тещи.

Ванну, величественную ладью на бронзовых лапах, превратила в кровать рыжая Лида, в прошлом «девочка» из заведения напротив, а ныне уважаемая подметальщица Потемкинской лестницы. Помимо самой ванны, в ее угоды попало окно с витражом: красная морская звезда, застрявшая в зеленых водорослях; в это окно Лида влюбилась и мыла-протирала витраж чуть не каждую неделю, даже на Пасху, задорно вопя на весь двор:

— У нас бога нет, кроме Сталина!

Эська ходила по соседям, как побирושка, — объясняла, втолковывала про искусство пения, умоляла понять, выторговывала, обещала вечный покой после девяти вечера. Затем посадила папу перед собой — объясняла, втолковывала, умоляла понять, выторговывала, обещала... Он насмешливо улыбался, добродушно отмахиваясь большой ладонью.

Она устала от его душевного подъема; иногда ей хотелось крикнуть: «Папа, заткнись, наконец!»

Первой опомнилась Стеша. Однажды утром на кухне, задумчиво срезая кожуру с картофелины, она проговорила: «Это он на нервной почке». И Эська, набравшая воду в эмалированный чайник, как стояла, так и села на табурет, а вода все бежала, бежала из крана... Почему, с горечью подумала Эська в тот момент, *почему она всегда умнее меня?!*

К папе был приглашен известный одесский психиатр Евгений Александрович Шевалев, причем на протяжении консультации Гаврила Оскарович несколько раз прерывал беседу, принимаясь петь, вроде бы шутя, похохатывающим тенором. На вопросы профессора отвечал, впрочем, толково, приветливо улыбаясь, но словно пребывая на оперной сцене, а лучше сказать, как бы играя в оперетте, где и диалоги есть, и речитатив встречается, но изюминка — это, конечно, вставные музыкальные номера.

— Вы спрашиваете, Евгений Александрович, о моем настроении по утрам? «По утра-а-ам, по утра-а-ам... когда со-олнце особенно я-а-а-арко...»

И так далее.

Его уговорили «лечь подлечиться» в клинику на Слободке; всяко бывает, успокаивал профессор, утомление, сложный быт, трагические обстоятельства потери любимого дела, семейные потрясения, перемена жилищных условий. И не волнуйтесь, у нас там не только буйное

отделение имеется, есть и весьма культурная публика, приятные собеседники. Отдохнете, поправитесь и думать забудете про все эти «тра-ля-ля-ля!».

Два месяца Гаврила Оскарович пребывал, как сам потом говаривал, «в цитадели культуры», с присущим ему ироническим артистизмом изображая кое-кого из пациентов, да и самих докторов. Гулял по тенистой аллее больничного двора под кронами акаций, принимал порошки, проходил процедуры. И вышел даже слишком успокоенным; по точному замечанию Стеши — «стреноженным». Рассуждал здраво, но как-то неуверенно. Произнеся фразу, вопросительно поднимал на дочь свои чудесные серые глаза под высокомерно-победными бровями: правильно ли сказал? И Эська прокляла себя за такое папино лечение. Пусть бы пел, твердила она в отчаянии, — когда пел, он был счастлив, как Желтухин.

Кстати, за последние годы папа так привязался к Желтухину (тот оказался настоящим артистом: обожал публику, с удовольствием исполнял на бис «Стаканчики граненные», постреливая по сторонам бедоным своим глазиком), что часто, выходя на улицу, прихватывал кенаря с собой в походной маленькой клетке величиной с пивную кружку; а уж в клинику — тут и гадать не надо, Желтухин последовал за хозяином скрашивать бестолковое и пустое время лечения.

В целом папино здоровье все же поправилось, у него даже появились два ученика-кларнетиста (расстарались бывшие коллеги по оркестру). И как раз с учениками он чувствовал себя как рыба в воде: грозно поднимал голос, или поощрительно увещевал, или, как прежде, на «раз и два и» стучал об пол знаменитой тростью «с балдахинном», полушутя обещая «отвинтить эту штуку и заколоть кинжалом за фальшивую ноту!».

Короче, жизнь как-то шла и шла себе, шкандыбая вперевалочку, точнее (да простится нам досадная описка) — сверкая сполохами салютов во славу покорения Полюса, во славу мужественных папанинцев, во славу спасения испанских детей, во славу подвигов шахтеров, строительства заводов, колхозов, мартеновских печей, прокатных станов, и ДнепроГЭСа, и что там еще? — ах да: «Разя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!»

* * *

Под старость, однако, Большой Этингер совсем съехал с рельсов, точнее, встал на свои особые невидимые рельсы, по которым помчался

вдаль — но не вперед, а вспять, в детство, в домашние субботние засто-
лья, когда отец пел своим колосящимся золотым тенором еврейские,
русские и украинские песни.

Постепенно он и вовсе оставил разговорный жанр позади, в мель-
кнувших пейзажах минувшей жизни. Полностью перешел на пение.
Пел, обращаясь к Степе и редко теперь появлявшейся дочери; пел, ру-
гаясь с соседями, пел, встречая на улицах знакомых, которые с груст-
ным сочувствием выслушивали этот концерт.

Невозможно точно сказать, когда он заработал кличку Городской
Тенор. Но заработал самым буквальным образом: уходил из дому с
утра, возвращался вечером — сытый, бывало, что и выпивший (в пор-
товых пивнушках угощали его пивом и колбасой грузчики-банабаки,
моряки и докеры). Часто давал импровизированные концерты перед
гуляющей в парке публикой.

Удержать его дома не было никакой возможности. Время от времени
Степе удавалось уложить его в психбольницу — там, по крайней мере,
он был под приглядом. Ну не хватало у нее ни сил, ни времени бегать
следом за беспокойным стариком! К тому же она вдруг очнулась и в от-
сутствии большого дома и больших забот решила «сделать жизнь, как
люди» — стала ездить кондуктором прицепного вагона на девятнадца-
том трамвае. Тот шел от Шестнадцатой станции Большого Фонтана
до Дачи Ковалевского, был однопутным, с разъездом возле остановки
«Санаторий “Якорь”». И так ей это дело пришлось по душе: сиди себе,
обилечивай входящих, за публикой присматривай — кто там зайцем
тырится. А когда двери закроются, дерни скобу над головой — это сиг-
нал ватману, водителю моторного вагона: давай, милай, трогай!

*Связи в трамвайном парке ее выручили и к концу войны: знакомые помогли
устроиться проводницей на поезд Одесса—Москва. В городе жрать было нечего, а
так — дорога длинная, бывало, кто из пассажиров угостит, бывало, на станции
перепадет то, другое... Однажды в Москве на вокзале удалось им с напарницей
выторговать селедку, одну на двоих. И так ее съесть захотелось! Поделили по-
полам, бросив жребий: Стеше достался хвост, напарнице — голова. А селедка
оказалась протухшей. Блевали всю дорогу обе кровавой рвотой. Стеше еще повезло,
с хвостом-то. А вот напарница не выжила.*

Она слегка огрузла, стала пышнее, ярче. Льняная коса сияла над
алебастровым лбом, удивительно благородным при столь «запоздалой
голове». Постаревший Сергей — он превратился в осатанело злого
управдома — уже не сватался (женился на молдаванке из села), но при-
ставал по-прежнему: однажды вошел следом за Стешей в подъезд и

пробовал прижать в углу. Она просто положила руку на его редкозубую пасть, из которой тошно несло махоркой и перегаром, и с силой отвернула к стене, да и пошла вверх по лестнице, не оглядываясь. Пока Яков Михайлов обитал где-то там, на столичных высотах, пока можно было, как оберег, твердо произнести его не блескуче-газетное, но крепкое имя, Стеша никого не боялась.

А Гаврилу Оскаровича люди и так не обижали. Мальчишки, конечно, дразнили, посвистывали вслед, но никаких безобразий, боже упаси. Уж очень он представительен был и на вид вполне силен. К тому же, по-прежнему свободно и машисто шагая, так убедительно поигрывал тростью с горящим на солнце «балдахинном», на *фортиссимо* обещая особо приставучим насмешникам догнать и «всадить клино-о-ок!!! в ваше трусливое се-е-е-ердце!!!», что желающих проверить не находилось.

Когда он появлялся на Привозе, торговцы из окрестных сел пересказывали друг другу его *доподлинную* историю: Городской Тенор, мол, — это знаменитый оперный певец, рехнулся с горя, когда его невеста, итальянка, певица, покончила с собой (прыгнула с обрыва — одни лишь круги по воде). С тех пор живет, безутешный, в катакомбах, питаясь отбросами, а в трости у него запрятан сверхточный пистолет. И если что не по ём... Ну и все такое прочее.

Словом, Большой Этингер по-настоящему воспарил: он стал частью городского фольклора, как Дюк Ришелье, как броненосец «Потемкин». Как ссыльный поэт Александр Пушкин.

* * *

На все эти обстоятельства как раз и пришлось злополучный Яшин визит. Возвращение — ну, может, и не возвращение, а так, прогулка до ридной хаты — блудного сына.

Как говорят в Одессе, не будем объяснять за картину художника Рембрандта, ее репродукцию видали все.

Трогательной встречи, к сожалению, не вышло (тут приходится верить свидетельству Стеши). Безумный отец не «пал на шею» сыну, не ощущал дрожащими руками согбенную спину бродяги-чекиста.

В ошеломляющие моменты жизни в Доме Этингеров всегда повышался звуковой барьер: словно ангелы судьбы вразной продували трубы, готовясь пропеть солдатскую зорю Страшного суда. Но тут умолкли трубы, уступив звучанию отцовского драматического тенора.

И поскольку в оперном жанре трагические повороты сюжета подчас сопровождаются речитативом, и мы считаем уместным перейти на торжественный речитатив:

В тот высокий миг,
простерши руку оперным жестом,
Большой Этингер пропел свою главную партию:
взбираясь голосом все выше,
закончив в грозном иступлении — на фортиссимо!!! —
он проклял Яшу, блудного сына,
сына блудного своего, Якова, проклял он!
Проклял!

* * *

Итак, «Der verlorene Sohn», «Блудный сын» (между прочим, в точном переводе с немецкого название означает «потерянный», а точнее, «утраченный сын») — оратория Маркуса Свена Вебера, Германия, восемнадцатый век, сладостное немецкое барокко.

Старинную музыку последний по времени Этингер предпочитал петь в соборах и церквях. Он вообще любил созвучие темы и этического посыла произведения с антуражем места, а библейские и евангельские сюжеты так проникновенно сочетаются с витражами высоких стрельчатых окон, с резными дубовыми хорами, со всеми этими капителями, позолоченными листьями, контрфорсами, плавно восходящими в арочный свод, а главное — с недостижимой вышью церковного купола, куда взлетает и на ангельских крылах парит, планируя и замирая, голос.

...Одинокая лампочка-спот над зеркалом гримерного столика освещала только левую сторону лица. Он раздраженно привстал, дотянулся до выключателя правого спота: так и есть, не работает! По трудолюбию итальяшки сравнимы разве что с греками. И это — нация, на чьем хребте половина человечества совершила рывок из Средневековья!

Он гримировался в крошечной комнатухе, в притворе одного из чудес барокко — собора Санта-Мария-делла-Салюте, того, что едва не сползает в воду Гранд-канала со стрелки восточной оконечности острова Дорсодуро. Все переплетено, все любовно рифмуется и аукается в искусстве: эти многочисленные волоты — завитки колонных капителей — так мучительно схожи с завитками головок струнных, доведенных до невысказанного совершенства кремонскими скрипичными мастерами...

Вообще, с годами начинаешь осознавать, что городов, достойных твоей страстной любви, очень немного — все их по пальцам можно пересчитать: Прага, Венеция, Рим, Париж... Ну, Флоренция. Ну, Питер...

И отстраненный, невзрачный и грозный — и острый, как красный перец в глотке, — Иерусалим.

В отдаленных приделах алтаря вполсили разыгрывались музыканты. Все же здорово, что его антрепренер всегда выторговывает для него особое условие — отдельную гримерку: крошечное, размером с утробу платяного шкафа, неудобное и душное — но укрытие. Интересно, мелком подумал он, мягкой кистью набирая и стряхивая в коробочку избыток пудры, когда же тебя перестанут волновать всяческие укрытия? Сколько лет безмятежной и безгрешной жизни должно пройти...

Он придвинулся к зеркалу, неестественно изогнув шею, чтобы свет левого спота осветил правую половину лица: подвести черным бровь, подпудрить щеку, обозначить кармином линию губ. Все должно гармонировать с бужлями пудренного парика и общим видом кавалера в костюме стиля рококо: длиннополый камзол, расшитый серебряными и золотыми нитями, дурацкие узкие кюлоты, за которые в Париже времен разгрома Бастилии можно было запросто повиснуть на фонаре, белые шелковые чулки и бальные туфли-лодочки. Помешались на аутентике! Впрочем, ему ли не приветствовать стремление взрослых людей поиграть в театр, заодно слушая серьезную музыку? Да и где побаловаться маскарадом, если не здесь — среди улочек, перехваченных обручами мостиков, словно корсетными дугами кринолинов; здесь, на уютных кампо, с обязательным в центре колодцем — розжю; здесь, где отражения плывут и уносятся по воде — прообразу всяческих превращений и перверсий. И где еще столь органичен его голос — более высокий, сильный и гибкий, чем любое женское сопрано, странный потусторонний зов, самой своей двойственностью порождающий сомнение и непреодолимое очарование перверсии?

Прозвенел первый звонок, есть еще время.

Итак, «Блудный сын», «Блудный сын»... В зеркале — расфуфыренное чучело. Другая крайность — в последние годы артисты все чаще позволяют себе выступать в незатейливой одежке, чуть ли не в джинсах. Но только не Этингер! Его концертный облик — раз и навсегда установленный канон: смокинг или даже фрак, белоснежная сорочка; под фрак всегда — туго накрахмаленная, сияющая манишка с раздвоенным ласточкиным хвостом; ну, и черная, редко — бордовая бабочка. Бабочку он в любых случаях решительно предпочитал галстуку: тот на поклонах свисает с шеи, как удавка снятого висельника, надо придерживать его на животе. К тому же бабочка больше идет бритому черепу античной статуи, в сочетании являя нечто декадентское.

Он приподнял голову, уже увенчанную бараньей шапкой парика, напоследок цельным завершающим взглядом охватывая готовый образ.

Дурацкий, в сущности, прикид: блудный сын — разве не в лохмотьях он (если уж мы говорим об аутентике) должен петь свою партию?

Далее мысли покатались по партии, перебирая, листовая, возвращаясь и оставляя на полях партитуры незримые пометки.

За спиной беззвучно отворилась дверь, ранее скрипевшая от малейшего сквозняка, и вновь закрылась, впустив кого-то темного, слившегося с полутьмой гримерки.

В зеркале над раззолоченным-рассеребрянным плечом Блудного сына возникло лицо, освещенное слева, — кстати, похожее на его собственное незагримированное лицо, тем более что обладатель его тоже брил голову.

Певец застыл, окостенел... Беишество, неуместное сейчас и здесь, хлынуло в горло, приготовленное совсем для иного. Черт побери!!!

Человек за спиной, чье умение двигаться бесшумно вошло в поговорку в среде его коллег, тоже молчал — доброжелательно и понимающе, даже слегка виновато. Оба они молчали секунд пять, всё друг о друге понимая.

— Нет! — наконец твердо проговорил в зеркало разодетый кавалер, играя желваками совсем не в духе куртуазной эпохи. — Дудки! Ни за что! Никогда больше. Иди, отчитывайся перед Гуровицем за разбазаривание средств на авиабилет и оставь меня в покое! Я частное лицо. Я певец. Я — Голос, понимаешь?!

— А что ты сегодня поешь? — мягко поинтересовался этот сукин сын. — Оперу? Торедора?

— Господи, ты бы хоть в программку заглянул, — с ненавистью выдохнул последний по времени Этингер, не оборачиваясь. Говорили они, как и положено в проблемных местах, на английском. Шаули, при его восточной внешности продавец фалафеля, владел языком безупречно — давняя, попутно выцеженная в Перусалимском университете степень по английской литературе. — Это оратория, а не опера!

— Что такое оратория?

Ну хватит! Немедленно оборвать этот мягкий натиск вкрадчивой пантеры. Прекратить с ним всякие препирательства и торговлю. Довольно с него Праги! Basta, я отработал, отработал, отработал! Я уже много лет никому ничего не должен.

— Во всяком случае, не то, что ты думаешь, — проговорил он с издевкой. — К оральному сексу это отношения не имеет.

— Приятно слышать, что ты еще не порвал с сексом, распевая этим бабьим голосом...

В дверь деликатно постучал служитель: пора выходить, скоро дадут второй звонок.

— Я буду ждать тебя в баре, на углу, сразу за мостом, — сказал Шаули примирительным тоном.

— И не дождеешься! — Он поднялся из-за гримерного столика, расправляя манжеты. — Пропусти и отвали: мне надо сосредоточиться перед выходом.

— Сразу за мостом, Кенар руси, — еле слышно нежно повторил Шаули на иврите. — Там такие пиздоватые куриные ножки на вывеске.

Придержал его за плечо в расшитом камзоле, что выглядело и вовсе по-отечески, — он был на голову выше артиста, — и добродушно по-английски добавил:

— Ты восемнадцатого поешь в Вене с Венским филармоническим, где концерт-мейстером группы альтов — пухленькая такая брюнетка по имени Наира, с

кошерной фамилией Крюгер. Однако девичья фамилия ее — Аль-Мохаммади, и она — двоюродная сестра профессора Дариуша Аль-Мохаммади, главы администрации завода в Натанзе...

— Ну! и! что?! — отчеканил шепотом тот, кого Шаули назвал странным именем «Кенар руси».

— Ничего, — безмятежно отозвался Шаули, снимая руку с его плеча. — Хотел пожелать тебе успеха.

II уважительно посторонился, пропуская артиста на выход.

...Здесь толпились музыканты.

Концертмейстер оркестра Густав Шмиттердиц, нарушая дух благочиния, допотопным лукообразным смычком вдруг лихо изобразил inferнальный взлетающий пассаж, начало сольной партии концерта Брамса — видно, душа, замордованная высокой патетикой барочной музыки, потребовала страсти. Первый трубач, держа на вытянутой руке огромную, старинную, бог знает какого строя трубу, проигрывал арпеджио, ухитряясь на меццо-пиано чисто брать высокие звуки.

Оба валторниста, едва не путаясь манжетами среди многочисленных, закрученных бараньими рогами добавочных крон-инвенций, старательно выстраивали квинты и терции, любуясь благородством густого оленьего тембра натуральных валторн, по сравнению с которым звук нынешней хроматической валторны — золотой краски Вагнера, Чайковского и Рихарда Штрауса — будто голос Элвиса Пресли после Карузо или Аджильи.

Дама-гобоистка, приладив пищик к светло-коричневой бесклапанной дудочке аутентичного барочного гобоя, тянула жалобно-слезливый кантиленный отрывок соло.

К счастью, будучи истинным артистом, последний по времени Этингер умел перед выходом на сцену выкинуть все из головы; поэтому его черный человек в черной куртке и щегольском черном кепи на бритой башке, с иранским ядерным сюрифризом за пазухой, вмиг растаял, будто мелькнул всего лишь туманным отражением в зеркале гримерного столика.

Прочь, прочь все зеркала!

В четверть голоса он пробежал ля-минорное трезвучие: все в порядке — диафрагма железно держит позицию, связки в полной боевой готовности. Сегодня он не разочарует публику, давно и сразу расхватавшую билеты на ораторию «Der verlorene Sohn» немецкого композитора XVIII века Маркуса Свена Вебера под управлением маэстро Альдо Роберти, известного специалиста по аутентичному исполнению старинной музыки эпохи Ренессанса и барокко.

Музыкальная репутация дирижера Роберти была непрекаемо высока — настолько, что в наш век сборных команд аутентиков (собрались-отрепетировали-сыграли-разбежались) он сумел добиться финансирования собственного коллектива «Musica Sacra» — полного смешанного хора и камерного оркестра

большого состава: четырнадцать скрипок, шесть альтов, четыре виолончели, контрабас, две блок-флейты, два старинных гобоя, два фагота, две валторны, две трубы (натуральные, само собой), литавры и, разумеется, клавесин. Когда возникла потребность в дополнительных инструментах, аутентисты из голландского оркестра маэстро Брюххена — кларнетисты и тромбонисты — почитали за честь сыграть в концертах «Musica Sacrum».

Хор коллектива выдрессирован безукоризненно: женщины, сопрано и альты, и мужчины, тенора и басы, звучали фантастически чисто и неправдоподобно однородно; порой даже не верилось, что поет не один человек, а группа. Основное внимание маэстро Роберти, в прошлом оперный дирижер, уделял репетициям хора, возложив ответственность за оркестр на концертмейстера, по совместительству профессора старинной музыки Академии города Бохума. Концертмейстер, герр Шмиттердиц, также наделенный правом отбора музыкантов, был требовательно-беспощаден, поэтому оркестр «Musica Sacrum», не выделяясь индивидуальностями, звучал по-немецки безупречно, хотя порой ему недоставало некоторой велевещивой патетики, необходимой итальянскому барокко.

Маэстро Роберти, как и положено специалисту по аутентике, славился изысканным выбором репертуара: из музыкального небытия он порой извлекал и доносил до своих поклонников — публики, впрочем, вполне специфической — достаточно редкие опусы, навеки, казалось бы, похороненные в архивах музыкальных библиотек и академий. Именно таким, лет 80–90, а то и больше не исполняемым сочинением была оратория «Der verlorene Sohn».

Маркус Свен Вебер, полузабытый немецкий композитор, вдохновленный Писусовой притчей в изложении евангелиста Луки, сам сочинил либретто, проявив при этом наряду с немецкой педантичностью недопожинный музыкальный талант и изобретательность: все комментарии, написанные в виде четырехголосных фуг, были отданы хору; партии четырех солистов предназначались для мужских голосов. Излагавшего сюжет «Хисторикуса», традиционного персонажа барочной оратории, пел баритон; Отца — естественно, бас; Старшего сына — тенор. Изюминка оратории, необычный замысел композитора заключался в том, что центральную партию Блудного сына должен был петь контраenor, самым нездешним тембром своим подчеркивая многозначность, двойственность и сакральность евангельской притчи.

...Раздался второй звонок. Словно невидимый звукорежиссер резким движением ползунка вниз убрал звук — музыканты, как по команде, смолкли: струнные перестали пикивать, духовые — дудеть, оркестр выстроился перед дверью церковного придела, готовясь выйти на сцену в навсегда определенном порядке и занять места за пультами. Они переждали хор, вышедший первым с противоположной стороны: сначала басы — на верхние ступени помоста, за ними тенора. На всех мужчинах-хористах те же дурацкие буклевидные парики и расшитые камзолы.

Последними вышли женщины, заняли нижние ряды помоста, — в напудренных, но выше, чем у мужчин, париках и расшитых серебром платьях фасона середины XVIII века: снизу широкий кринолин, сверху открытый, не стесняющий дыхания лиф. Все артисты хора держат перед собой открытые папки с нотами, похожие на карты ресторанных меню.

В левом приделе еще топчется упряжка солистов: наряженный в черный, с серебряной вышивкой камзол «Хисторикус» — Герман Шнюкк, некогда известный в Европе певец. В последние годы его специфически немецкий «пивной» баритон все реже привлекает внимание оперных дирижеров, так что он все чаще предпочитает выездную аутентiku. Старик в благородно-пурпурном камзоле, бас Луиджи Оттоленги (по слухам, принадлежит к некогда знатному роду итальянских сепардов), явно изживает певческую карьеру, да и партия Отца, честно говоря, незначительна — чуть похаркать в углу сцены. А вот тенор Штефан Херля, восходящая румынская звезда, страдает комплексом недооцененного гения — еще не все агенты знаменитых европейских и американских театров по утрам ломают в его прихожую.

Последнему по времени Этингеру пришлось дважды выступать с догнулом¹ Херлей, и оба раза было забавно видеть, как это постное, якобы равнодушное лицо заливается алой краской, едва лишь контрафенор берет первую ноту и зал опрокидывается на спинки скамей.

«Белым финнам, черным финнам и обокрашенным румынам захотелось русских пиздюлей!» — удивительно, что эта патриотическая детсадовская чепуха всплывает в памяти перед выходом на сцену.

Нет, это не детсад, спохватился он; это Барышня напевала, вот что! Она вообще привезла с фронта прорву всякой дребедени.

Из кабинета, расположенного в соседнем приделе, вылетел маэстро Роберти — суховатый живчик лет шестидесяти пяти, снабемый духом неудовлетворенного совершенства. Грубо выморкался в сине-белый клетчатый платок, резко выдохнул: «*Signori, con Dei!*» — широким жестом пропуская солистов.

Венеция, туристическая Мекка Европы, самая концентрированная в мире эссенция всевозможной экзотики, концертно-музыкальной жизнью особо не славится: ну что провинциально-жалкий «Teatro La Fenice» по сравнению с расположенной неподалеку миланской оперой «Alla Scala» (как, добавляя две буквы, правильно именуют ее сами итальянцы) или даже с соседней «Arena di Verona»? Артисты мирового уровня сюда добираются довольно редко.

Поэтому огромный круглый зал Марии-делла-Салюте был на удивление полон. Три четверти слушателей — это, конечно, туристы, забредшие сюда от скуки, не пожалевшие пятидесяти евро за вход, хотя им вряд ли что-либо говорит

¹ Господин (искаж. рум.) — здесь и далее прим. автора.

фамилия не того, а этого Вебера. Но наверняка есть и ценители, они всегда попадают в любом зале.

Последние мгновения замшевой тишины вздохов, покашливаний, бумажного хруста конфетных оберток истаявают над неудобными деревянными скамьями и приставными стульями.

Вежливый всплеск аплодисментов на выход солистов — своего рода аванс, его еще надо отработать.

Мастро Роберти взмахнул палочкой — и череда румяных бравурных аккордов в барочных камзолах торжественно распаивает кулисы, покрасоваться и раскланяться; началось оркестровое вступление...

Все как обычно: адажио в традиционном однобемольном ре миноре; до баховского клавирного шедевра композиторы барокко не рисковали забивать ключи обилием знаков. Струнные повели свою мелодию, навеваящую мировую скорбь, намекая на предстоящие печальные события притчи. Ту же мелодию-жалобу октавой выше повторил гобой, и еще несколько раз она вспархивала и всхлипывала там и тут, настойчиво напоминая о трагической и скоротечной сути жизни.

Затем, как в увертюре к «Дон Жуану», струнные рассыпали сверкающий искрами мажор второй части вступления, дружно проводя тему унисоном, перебрасывая мячик фугато, перекликаясь вопрос-ответом. Духовики — деревянные и медь — подчеркивали срединными голосами аутентичные каденции: доминанта — тоника.

На ликующем аккорде — мастер Вебер не чурался театральных эффектов — вступление оборвалось.

Клавесинист, ряженный, разумеется, в тот же камзол и парик, взял многозначительный си-минорный аккорд. «Сессо», природный звук клавесина, трение плектров о струны, идеально зависал в тишине под необозримым куполом Салюте: безмятежность, бестрепетность, бесстрастность, безадресность...

«Хисторикус» — баритон Шнюкк, явно радуясь пению на родном языке, скорбно-торжественно приступил к повествованию:

— «Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne...»

Подобно огоньку в сосновом валежнике, что метнулся по иголкам порыжелой высохшей хвои, вспыхнули альты хора с текстом комментариев к притче. Торжественно полетел «дих», первое минорное проведение темы в главной тональности:

— «У некоего человека было два сына: под образом этого человека подразумевается Бог; два сына — это грешники и мнимые праведники...»

Второе проведение темы, «comes» — как положено в свободной баховской полифонии, квинтой ниже — подхватили тенора, дабы передать мелодию группе сопрано, в то время как альты и тенора, идеально приглушив звук, выпевали противосложение. И только после сопрано тему в основной тональности повторили

басы — мелодия хора зазвучала, как и требовали эти стены, могучим, будто опоры здания, четырехголосием. Да, контрапункт старик Вебер (или он не был стариком?) изучал весьма усердно. Хор резко замолчал, чтобы после нескольких аккордов клавесина вступил «Хисторикус»:

— «Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater...»

Ах, до чего все-таки не похожи скорбно-торжественные, исполненные сдержанным негодованием речитативы барокко на речитативы итальянского рококо у Моцарта, у Россини, где в сопровождении тех же аккордов «секко» мелодия сочится лукавством интриги, гривуазностью, порой и неприкрытыми намеками на эротику — а ведь, казалось бы, та же триада: тоника-субдоминанта-доминанта.

И снова побежал в глубине хора теноровый «дукс»:

— «Младший, более легкомысленный, еще не искушенный тяжелым опытом жизни...» — и тут же им «комесам» ответили сопрано.

...А вот и я, вот и я, Блудный сын (эту партию вообще-то часто отдают альту, но на сей раз им повезло: к ним залетела редкая и, скажем прямо, дорогостоящая птица). Ну-с, поехали...

Это всегда его звездный час: он подбирается, чувствуя мельчайшие мышцы лица, шеи, торса, живота; через секунду струя воздуха, оперишись на мгновенно затвердевшую диафрагму, заденет рабочую часть связок, сформируется в головном резонаторе и повиснет в нужной, проверенной на репетиции, части купола, чтобы мощной волной серебряной лавы залить все пространство церкви Санта-Мария-делла-Салюте:

— «Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht». («Дай мне, отец, часть наследства, мне причитающуюся».)

Чертов затейник Вебер не придумал ничего лучше, чем начать партию контрапункта с ре второй октавы!

«Vater!» — два слога попали на нисходящую кварту. «Fa-maa!» — господи: терция с фа второй октавы! Еще бы: писано для гениальных кастратов, и мы можем лишь догадываться, как звучало их пение. Их быстрые партии петь невообразимо трудно, а медленные — практически невозможно. Небось улыбаются со своих призрачных хоров, наблюдая за его потугами.

Как обычно, всем напряженным телом он чувствует вздох публики; еще не бывало случая, чтобы зал не отозвался на первые звуки его голоса этим изумленным общим вздохом. Все читали в программке имена и роли, многие знают, что такое контрапункт, кое-кто из публики так или иначе подготовлен к тому, что услышит, — все равно этот неперемный вздох, эта горячая волна, дуновение которой накатывает из зала и накрывает его самого, вливая в жилы пузырьки огненной эмульсии, остается самым мощным его наркотиком.

— «*Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht*», — вытевал он ламентацию Блудного сына, не подозревающего, к каким испытаниям в будущем приведет мягкосердечность отца.

— Вы, милый мой, наверняка в прошлой жизни были немцем — таким «т» и «д» не научить! — Вильгельм Рудольфыч, репетитор немецкого, ахал над его «неповторимым» немецким придыханием: ни в одном языке ничего похожего не сыщешь. (Впрочем, разве не восхищался на курсе его арабским произношением преподаватель сирийского и иорданского диалектов?)

— «*Das mia цушьтееет!*» — подчеркивая мягкость «ш» и сколькь возможно вытягивая «е» — именно «е», а не «э» мягко держал он, плавно филируя до пианиссимо ля первой октавы.

Последнюю фразу Блудного сына повторил гобой.

Эти церковные горные выси так берегут, так множат эхо давно отзвучавших голосов давно умерших кастратов. Ему всегда казалось, он чувствовал: там, вверху, под высоким куполом собора на его голос слетаются невидимые стаи потусторонних дискантов и фальцетов и — божественная рать — сливаются в точнейший унисон, множа ангельский хор...

— «По закону Моисееву, — прокомментировали альты, — младший сын получал половину от того, что получал старший».

— «По закону Моисееву», — торжественно отозвались басы.

Снова после сухой россыпи клавишина мрачно вступил, сообразуясь с библейским зачином «и», «Хисторикус»:

— «*Und er teilte Hab und Gut unter sie.* («II отец разделил им имение».) *Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen.* («I по прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно».)

Слова «дурьх мит Прассен», «через распутство» баритон Шнюкк пропел, вкладывая максимальное отвращение лютеранина-бюргера к дерзкому ничтожеству, посмевшему растратить добро, накопленное поколениями предков, на шлюх, приносящих мимолетную постыдную утеху.

Настал черед очередной фуги. Вступили басы:

— «Разделил им имение...»

Продолжили тенора:

— «Собрав все, пошел: тяжела ему показалась опека отеческая...»

Альты подхватили противосложение:

— «Так человек, наделенный от Бога дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение к греху, начинает тяготиться божественным законом...»

II хор, пробежав каждой группой фугато «Дальняя сторона», вместе с мощным тупти оркестра, всеми группами грянул итоговое нравоучение:

— «...есть образ далекого отчуждения грешника от Бога, глубокого падения его нравственного».

Немецкое произношение хора было вполне приличным.

Две скрипки, блок-флейта и клавесин проиграли меланхоличную интермедию-менуэт, предвестницу печальных событий.

После речитатива продолжил «Хисторикус»:

— «*Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben*» («Когда же он всё прокутил, настал великий голод в той стране, и он стал нуждаться»).

Хор затянул негодуяюще:

— «Настал великий голод... Так нередко Бог посылает на грешника бедствия внешние, чтобы более образумить его...»

Вот она грядет, эта минута.

В юбилейных распевах контратенор божественен: от бесконечного каскада бриллиантовых фиоритур в жилах публики стынет кровь. Всю полноту чувств, вызванную праведной патетикой притчи, композитор вложил в музыку:

— «*Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten*» («I пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней»).

На словах «ди Зёйе цу хю-у-у-ути!!!» мелодия взмыла вверх, до фа-диеза второй октавы и там, словно пороссячим закрученным хвостом, затрепетала длинным верхним триллером, издевательским штопором ввинтившись на фортиссимо в пустоту воздуха.

Завершив трель, он ощутил движение единого в восторженном выдохе зала. Такой выдох возносится под купол цирка в миг, когда воздушный акробат эффектно завершает смертельно опасный трюк.

Маэстро Роберти, знаток и любитель эффектов, в этом месте чуть придержал прекрасно выдрессированный хор, и после секундной паузы сопрано и альты дружно грянули:

— «Пасти свиней — самое унижительное для истого иудея занятие...»

Басы продолжали стретту:

— «Так нередко грешник унижается еще более и доходит до самого бедственного состояния...»

Вновь зазвучал исполненный отчаяния голос Блудного сына:

— «*Und ich begehrte, meinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie mich*» («I я рад был наполнить чрево свое рожками, что ели свиньи, но никто не давал мне»). «*Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in*

Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger!» («Сколько наемников у отца моего пресыщаются хлебом, а я умираю от голода!»).

По мере усугубления страданий несчастного изгой певец все больше обесцвечивал тембр голоса, уплотчал, придавая звуку почти потустороннюю бестелесность. Слова «*унд ыхь фэрде-е-ербэ хиа им Хунга!*» он пропел пианиссимо, без вибрации (какая, к чертям, вибрация, когда вот-вот копыта с голодухи откинешь?). Мазстро Роберти, оценив остроумный прием артиста, максимально приглушил аккомпанемент струнных — эффект оказался потрясающим. Но Блудный сын, приняв решение, чуть приободрился:

— «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: “Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих”».

Хор начал новую фугу — традиционно, с альтов:

— «Не так же ли болен до потери сознания грешник, когда он объят грехом...»

Глухо вступили басы:

— «Встану, пойду к отцу моему: решимость грешника оставить грех и покаяться...»

Противосложение продолжили тенора:

— «Я согрешил против неба и пред тобою...»

И стретту вновь пропели сопрано:

— «Не достоин называться сыном...»

Фугу закончил хор тютти:

— «В число наемников твоих... хотя б на самых тяжких условиях быть принятым в дом отчий».

«Хисторикус» продолжил свой поучительный рассказ, притча катилась дальше, дальше: и встал блудный сын, и пошел к отцу своему, и когда был еще далеко, увидел его отец и жалился; и, побегав, пал ему на шею и целовал его...

Близится кульминация: сложнейшая, невероятная, невыполнимая, единственная в жизни; растянутые в бесконечности, сжатые в горючий миг минуты пресуществления Голоса. И после слов «Хисторикуса» «*Der Sohn aber sprach zu ihm*» («Сын же сказал ему») он напрочь выматает из головы сор обрывочных мыслей, чтобы во всем его опустелом теле не осталось ничего, кроме Голоса...

Тут, как везде в барочной музыке, композитор предоставил певцу много места для импровизации. В клавише в его партии сплошь и рядом обозначены лишь длинные ноты, вокруг них исполнитель создает свой рисунок, выплетаемый всей этой дивной живностью, прелестной канителью: шаловливо-прилежными трелями с фризлагами и нахтилагами.

Медленно раскачиваясь, голос начинает свое вкрадчивое кружение вокруг длинных нот — удав в чаще лиан, — постепенно усложняя и увеличивая напряжение,

всякий раз по-новому окрашивая тембр. После каждого эпизода инкрустация мелодии все богаче и изощреннее, голос поднимается все выше, выталкивая из груди вверх ослепительные шары раскаленного звука, воздвигая плотину из серебристых трелей, ввинчивая в прозрачную толщу собора восходящие секвенции, гоня лавину пузырьков ввысь, ввысь...

Так ветер нагоняет облака, пылающие золотом заката; он и сам неосознанно приподнимается на носки туфель и досылает, и досылает из-под купола глотки все новые огненные шары, что сливаются в трепещущий поток, будто это не одинокий голос, а сводный хор всей небесной ликующей рати, среди коей растворяется без остатка окающая душа.

Три форте, выданные его легкими, диафрагмой, связками и резонатором, заполнили все подкупольное пространство церкви Марии-делла-Саломе, чтобы обрушиться на зрительный зал:

— «Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße» («Отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим»).

Маэстро Роберти, как было условлено, остановил оркестр. II — полные легкие — певец пошел на головокружительный трюк, композитором не предусмотренный:

— «Фа-а-та!» — снова фортиссимо (если таким манером попробовать три форте, связкам конец) он взял ля второй октавы и чуть слабее повторил: — «Майн фа-а-а...», — и спустился на ре потрясающим по красоте портаменто, сфиллировав звук на выдохе до трех пиано: — «... та!»

В такие минуты он не был ни израильтянином, ни евреем, ни христианином; не был собой — последним по времени Этингером... Он не был никем, лишь голосом Неба и волей Неба — и это мучительное, тайное, сладостное чувство распирало грудь, давило в виски, грозя взорвать мозг и выплеснуться на невидимый потный стан кровавыми брызгами освобожденных форшлагов.

Когда, смыкая связки, он форсировал звук в некоей точке подкупольного пространства, он чувствовал то же, что и в поиске точки прицела: голос Неба и волю Неба. (Он предпочитал испытанный метод уничтожения объекта: выстрел в голову.)

Даже выдох зала не прозвучал — смертельную тишину разорвал гром аплодисментов.

Маэстро Роберти дернул уголком рта — высшая степень одобрения, главный трюк прошел блестяще — и слегка взмахнул палочкой. Лицо румынского тенора окаменело: стой он теперь свою партию, как Паваротти, такой успех ему и не снился.

А Блудному сыну можно было перевести дух, ибо дальше шла большая сцена между Отцом и Старшим праведным сыном, возмущенным безрасудством от-

цовского всепрощения. Румын вел свою партию довольно бойко: всё при нем, всё умеет. Года через три достигнет своего потолка. А вот бас Луиджи Оттоленги заметно помутнел буквально за последний год, с их совместного концерта в Риме.

Хор продолжал плести фуру об отцовском милосердии и об истинном благочестии, о прощенном грешнике, о Божьей любви к человеку...

Он бросил взгляд на скамьи: в третьем ряду справа, обмахиваясь программкой, сидел Шаули. Кепку он снял, но для любого постороннего глаза был, как и положено, затерт, замылен, практически невидим. Любой посторонний глаз просто оплывал его внешность. Ах ты, сторож брату своему, — мой черный человек, заказчик очередного реквиема по очередному ближневосточному князьку, озабоченному извлечением смертоносного ядра из брюха бешеной центрифуги.

(«Ядра — чистый изумруд!» — восклицала Барышня, выковыривая вилочкой нутро из орехов, которые он в детстве колол для нее прадедовым инвалидам-Щелкунчиком.)

У него — у последнего по времени Этингера — не было ни малейшего сомнения в том, что вместо запланированного после концерта великолепного банкета в «Гритти-Палас» с организаторами и спонсорами сегодняшнего спектакля его ожидает сомнительный перекус в паршивой забегаловке с «пиздоватыми» куриными ножками на вывеске.

Он даже предугадывал первую реплику, которую произнесет его друг, опустившись на стул и стянув с бритой башки черный кепи: «Едрена мать, Кенаф: когда ты верещишь этим своим птичьим писком, небось все педрилы в зале мечтают тебя трахнуть?»

(Нет, не думать, не думать — прочь! Не думать, не вспоминать, как, тому уже много лет, на морской берег в Тартусе, где благоуханным вечером на веранде своей дачи пировал с гостями глава сирийской разведки генерал Рахман аль-Саидани, вышли два акаллангиста, и посреди застолья хозяин тюкнулся лицом в тарелку, и так никто и не выяснил, из чьей снайперской винтовки пуля — Шаули или его, Кенафа, — вошла ему точно в лоб.)

...Финал этой оратории необычен для барочной музыки: ни тебе грама оркестра и хора, ни тебе литавр и бешеного тупти струнных.

После пропетого «Хисторикусом» «дэр эрблиндете Фатер» («ослепший отец») следует поистине ангельское умиротворение, дуновение эфира, стон по утраченной душе.

И плачет голос Блудного сына, истекает нежнейшей любовью, и течет-течет, и парит-парит, затихая на пианиссимо, замирая на затяжном вздохе, глубже и глуше впечатываясь в войлок тишины, в мякоть облака; струйкой света — в растворенную взвесь золотого соборного воздуха — в небытие...

Вот оно: мгновение беспредельной тишины, миг любви и слезного слияния с Божьим замыслом.

И затем — грозовой разряд, треск и ливень аплодисментов!!!

а Эська разъезжала все предвоенные годы. Разъезжала так много, что когда засыпала на убитом матрасе железной койки, где-нибудь в углой комнате Дома колхозника или в безликом номере провинциальной гостиницы, в ушах ее, то накатывая, то отдаваясь, стучали колеса железнодорожного состава.

Она сопровождала танцовщице, бешеной испанке с ослепительным именем Леонор Эсперанса Робледо, отчаянно смелой и до известной степени даже дикой, чье безрассудство распространялось на все, кроме самолетов — тех она до дрожи боялась. Так что колесили по трое, по четверо суток, а когда ездили на гастроли по городам Сибири, то и вообще неделями не видали ничего, кроме бешеного перебора шпал, редких фонарей, кособоких деревянных домишек, дощатых сараев и бесконечной, угрюмо-зеленой полосы матерой тайги.

Разъезжали втроем: бешеную испанку сопровождал муж, известный испанист, профессор-этнограф Александр Борисович, угловатый нервный человек, который, собственно, и привез ее из Испании, из какой-то своей этнографической экспедиции.

Это все как получилось: однажды утром, во время занятий с вокалистами, позвонила в училище обезумевшая Надежда Ивановна Полищук, администратор филармонических программ, срочно-слезно вытянула Эську прямо с урока и чуть не зарыдала в трубку: мол, спасайте, Эсфирь Гавриловна, христом-богом прошу, а когда-нить и я вам пригожусь.

— Да что, что такое, кого спасти?

— Ну-тк, приехала с концертом испанка-танцовщица, а вчера ее концертмейстер — женщина полная, сильно в возрасте, та еще гипертоничка, — дуба тут нам преподнесла!

— Ка-а-ак?!

— Да вот так, пошла в гостинице помыться с дороги, а уж из душа ее всем персоналом выволакивали. А нам-то что делать? Билеты все проданы, аншлаг, вы ж понимаете — Испания, но пасаран, и я вас умоляю. Публика же сочувствует...

— Ну хорошо, — в замешательстве пробормотала Эська. — Но... почему непременно я?

— Та вы смеетесь? Там программа технически жутко сложная. Ну кто в Одессе, кроме вас, с листа читает, как сама сочинила?!

...Сыграла, конечно; программа не то чтоб особо сложная, — уж не Бетховен и не Лист. Но беглость чтения понадобилась. Эська слегка напряглась, шпаря на скорости все эти болерос-севильянос; на танцовщицу смотрела даже не краем глаза, а так, бликом зрачка, отмечая внезапные остановки или вихревые закруты алой с черными воланами юбки. Испанка оказалась не типичной: высокая, худенькая, пышные каштановые волосы с красноватой искрой, обжигающе-зеленые глаза — прямо ирландка какая-то. После концерта за кулисами налетела на Эську, стиснула в свирепых объятиях, бормоча как безумная: «Диос, Диос!!!..» — еле отбилась от нее.

А на другой день вечером явились прямо на квартиру, да с цветами: нарядная щебечущая испанка (ни словечка по-русски) и ее нескладный, несуразный, некрасивый, очень церемонный муж. Солидное деловое предложение вывалили с порога — не дождались, пока Эська цветы в вазу поставит. Она рассмеялась и с ходу легко отказала — что? кочевая жизнь? чепуха! да и как бы она бросила своих вокалистов, беспомощную Стешу, нездорового папу? нет, это полное безумие!.. (Поиск вазы рассеянно продолжался, огромный букет заслонял крошечную Эську от гостей.)

Тогда они просто повалились в ноги — профессор метафорически, а испанка буквально: рухнула перед Эської на колени, стала ее руки ловить-целовать. Та ужасно испугалась, выронила букет, вырвала руки и, беспомощно ими всплескивая, заметалась по комнате.

— Что, что она говорит? — в смятении спросила она сумрачного мужа испанки. Тот криво усмехнулся, как бы со стороны наблюдая эту картину:

— Говорит, что покончит с собой. У нас, понимаете, если вы отвернетесь, летит к чертям огромная гастроль: Урал, Сибирь, Дальний Восток... — И добавил глуховатым голосом, явно преодолевая себя: — Мы вас, Эсфирь Гавриловна, просим о милости, о душевном подвиге. А я так просто умоляю — тут вся моя жизнь на кону. Это ведь не она должна на колени становиться, а я, именно я.

Эська ночь не спала, а когда поднялась с головной болью и совершенно безумным, ни в какие ворота не лезущим, безответственным легкомысленным решением взять за свой счет отпуск на три месяца, на время этой их чертовой, свалившейся на ее голову гастроли, — обнаружила, что Стеша на кухне уже выглаживает складочки и оборки «венского гардероба». Парусиновый саквояж на стуле в ожидании развязил пустую утробу.

— Нет-нет, — буркнула Эська хмуро, запивая таблетку пирамидона вчерашним чаем. — Ничего такого банкетного не возьму. Там дело

дорожное, бивуачное, мытарства всякие... грязные караван-сарай, черт бы меня побрал! К тому ж блистать на сцене должна она, а не я. Сложи две юбки попроще, ну, и пару блузок поскромнее.

* * *

Что поражало ее в испанской танцовщице — жизненное воплощение прославленного литературного типа. Это была Кармен в чистом виде, Кармен, что подзадержалась в утомительном для нее браке с Хосе. Удивительным также было и то, что Леонор Эсперанса и сама полностью отдавала себе в этом отчет, довольно часто цитируя Мериме в насмешливом обращении к мужу: «Ты настоящая канарейка одеждой и нравом! И сердце у тебя цыплячье...» Впервые услышав эту цитату на испанском и мысленно в несколько прыжков переведя ее на русский (в то время она понимала по-испански уже гораздо лучше, но все же отнюдь не каждое слово), Эська скромно заметила, что дома у нее много лет живет канарейка по имени Желтухин и это отважная певчая птичка, которая дарит одну только радость.

Испанский она была просто вынуждена одолеть, хотя б на бытовом уровне, дабы вовремя предотвращать ежеутренние скандалы, когда на весь коридор гостиницы где-нибудь в Кинешме или Тамбове раскатывался вопль проснувшейся Леонор Эсперансы: «Кофе! Я что, должна умолять о кофе?!»

Неизвестно, чем таким особо художественным прославилась испанка дома, не то в Арагоне, не то в Эстремадуре, — судя по ухваткам, накручивала румбу в каком-нибудь кафешантане. Оказавшись в Москве, довольно ловко сочинила себе разнообразную танцевальную программу из нескольких танцев, которые за неизменением партнера исполняла *solo*. Во всяком случае, Эська, ранее считавшая фламенко чуть ли не единственным танцевально-вокальным выражением испанского духа, убедилась в существовании и горделивого пасодобля (Леонор исполняла его в костюме тореадора), и торжественной арагонской хоты, и плавной мунейры (которую, вообще-то, как объяснила Леонор, правильно танцевать под волюнку), и даже страстного болеро, вращавшегося вокруг оголенного пупка танцовщицы. Ну и фламенко, само собой, — зрители не перенесли бы этой зияющей пропажи; фламенко, в котором Леонор играла взбесившейся красной юбкой, вначале раздувая неукротимое пламя, потом его неистово гася.

Публика, очень в эти годы *происпаненная* в своих симпатиях, сопровождала ее танцы ритмичными хлопками, восторженными выкриками и — в зависимости от культурного уровня зала — прочими *букетными*

проявлениями восхищенной любви. Бывало, после концерта в артистическую уборную вносили безымянную корзину цветов, которую потом Леонор требовала возить за собой по всему маршруту гастролой до полного, пыльного и бесславного ее умирания где-нибудь в купе очередного поезда.

Этнограф мучился ревностью — на взгляд Эськи, тоже несколько литературной, но небезосновательной. Наезжая в Москву в коротких перерывах между гастроями, они жили на даче в Загорянке (свою квартиру профессор оставил жене и дочери). Испанка разгуливала по дому голой и голой выходила в сад, украшая себя листьями лопухов и развесив по золотым плечам золотистые гроздья винограда: фрукты ей присылал корзинами поклонник, некий крупный чин в Совнарком.

В минуты раскаленных раскатистых семейных скандалов она завораживала своей пластикой: все ее тело разворачивалось кольцами навстречу обидчику в яростно мелодичной, оскорбительной тираде, в которой змеиное жало языка поддерживал плавный выпад гибких рук, а презрительная упряжка трепещущих бровей неслась вскачь над ледяным зеленым пламенем глаз.

Этнограф сходил с ума от ревности.

Несколько раз на гастролях Эська попадала в сердце семейного тайфуна, когда интеллигентный Александр Борисович, доведенный женой до иступления, коротко и наотмашь бил испанку в лицо, так, что та падала на пол, картинно и удовлетворенно раскинув руки. Эська же вскрикивала, точно ударили ее, а не Леонор, и убегала куда-нибудь, и скрывалась по три дня — в гостинице, у случайных знакомых, или снимала комнату у старушки в частном секторе.

Репетиции прекращались, но перед самым концертом ее разыскивали. Являлись, держась за руки, дружные и веселые *молодожены* — Кармен с Хосе, — обнимали Эську, целовали и уволакивали с собой.

Собственно, тяжелый и вспыльчивый Александр Борисович со своей легкомысленной Леонор Эсперансой стали в эти годы Эськиной бродячей семьей. И если б для некоего умозрительного летописца ее скудной биографии понадобился символ, она таковой назвала бы немедленно: кипятильник! Ибо с утра до вечера Александру Борисовичу и Леонор нужны были прямо противоположные вещи. Ей — кофе, ему — отвар ромашки для больной почки. Ей — свиная отбивная, ему — овсяная кашка. Ему — тишина для сосредоточения над какой-нибудь статьей, ей же — музыка, гром и топот, треск кастаньет, папиросы и бутылка вина, а к вечеру напряжение всех мышц, чувств и

нервов — и так до самой ночи, до неперемного взрыва, до ее хохота, до его крика, до... хотелось бы написать «выстрела»; нет, всего лишь пощечины.

Однажды деликатная Эська решила на серьезный разговор с этнографом. Потом пожалела: выбрала не тот момент. Александр Борисович к вечеру часто бывал навеселе, много шутил и ничего не принимал всерьез. Вот и тогда, выслушав ее мягкие увещевания, горько ухмыльнулся и, перегнувшись через стол, сказал приглушенным голосом:

— Дурак я, Эсфирь Гавриловна! Вы видите перед собой отчаянного и жалкого дурня. Все дела у меня в загоне, жизнь запущена так, что страшно в нее заглядывать.

Они сидели на уютной, с цветными стеклышками в оконных переплетах веранде дома писателей (некогда усадьбе каких-то сгинувших князей — то ли Голощекиных, то ли Щербацких), куда их на время турне по городам Ленинградской области (благо, не сезон) удачно пристроил всемогущий администратор филармонии Миша Туркис.

— Вот увидите: меня скоро вышвырнут из Академии. Умом я понимаю, как поступить, но сердцем смириться не могу. Воли нет. А знаете, что надо бы мне сделать? Отправить ее назад, в ее Эстремадуру, жепниться на вас и зажить прекрасной и достойной нормального человека жизнью.

Эська, которая вообще-то уже давно считала точно так же, но никогда в жизни не позволила бы себе ни единого встречного шага, немедленно посмуглела розоватым румянцем, но сдержанно и благородно посоветовала ему не отчаиваться: с Леонор нужно только терпение, и тогда все наладится.

— Ничего не наладится! — грубовато оборвал ее этнограф.

* * *

С этой чокнутой парочкой и застала Эську война — в городе Кирове. Этнограф бросился на призывной пункт, и — что явилось полной неожиданностью для обеих женщин — его таки призвали. Призвали, несмотря на астму, единственную почку и псориаз, чудовищно расцветший с известием о начале войны.

Дня два перед объявленной датой отправки эшелона он деятельно и даже как будто увлеченно приводил в порядок свои записи, разработки и статьи, раскладывал все по конвертам, надписывал адреса, по которым Эське следовало их отправлять (в последние лет пять она, со своей обязательностью и деловой опрятностью, превратилась еще и в секретаря этнографа).

В последний вечер перед отправкой профессора на фронт они втроем долго и задушевно сидели в гостиничном номере за бутылкой вина, дружно пели испанские песни, мечтали, как все повернется после войны: надо полагать, разрешат гастроли за границей — ведь Испанию наверняка освободят от фашистов.

— Девушка, подари мне гвоздику твоих губ,
а я подарю тебе бубенчик... —

негромко затянула Леонор старинную серенаду «Клавелитос», ту, что обычно исполняла на бис. Пела, склонив голову к плечу, будто прислушиваясь к собственному голосу. Ее тонкая смуглая рука медленным стеблем проросла вверх, гибкая кисть вздрогнула и зажила отдельной жизнью — то безвольно сутулясь, то раскачиваясь змеиной головой, то резко распрямляясь, как распятая.левой рукой она похлопывала по столу, размечая ритм:

Я подарю гвоздики, гвоздики моего сердца,
и если когда-нибудь я больше не приду,
не думай, что я разлюбил тебя...

Поднялась и закружилась, то прищелкивая пальцами в такт песне, то умоляюще протягивая к мужу обнаженные руки; выводила мелодию печальным контральто, на окончаниях фраз роняя голос до любовного полусшепота:

Когда я увидел впервые твои губы цвета вишни
и гвоздику в твоих волосах,
мне померещилось, что я узрел кусочек рая...

Эська перевела взгляд на застывшее лицо Александра Борисовича и поняла, что ей пора к себе.

Наутро после этого чудесного вечера Эська проснулась, села на кровати и, опустив босые ноги на пол, угодила в лужу давно остывшей крови.

Почему этнографу вздумалось резать вены у нее в комнате, в темноте, что случилось меж ним и испанкой ночью, почему он не решился разбудить Эську в черную минуту нестерпимого отчаяния и как умудрилась она не услышать его последних хрипов — все это осталось совершенно необъяснимым. В голове у нее был туман, ужас, бестолковщина — словом, «полный каламбур».

Потом она гонялась за бешеной Леонор Эсперансой — которая бегала по всей гостинице с кухонным ножом, громко обещая вонзить его

себе в грудь, — договаривалась о похоронах и унимала вопли обезумевшей Леонор вослед гробу, утонувшему в недрах суглинистой ямы.

«...И если когда-нибудь я больше не приду, не думай, что я разлюбил тебя...»

Затем полтора месяца они добирались в Москву, в надежде на помощь и покровительство высокого чина, что присылал когда-то Леонор корзины фруктов.

Высокого чина они на месте не застали — то были первые страшные недели войны, когда столичные начальники драпанули из Москвы в позорной панике. Но оказалась на месте и приютила их в коммуналке на Кировской Эська гимназическая подруга — она служила тихой архивной мышью в каком-то архитектурном учреждении.

На беду, Леонор заразилась в поезде тифом и недели три провалялась в больнице: металась, тараща мутные зеленые глаза и горячо выдыхая в бреду: «Александр! Александр!» — и что-то еще неразборчивое покаянным истерзанным плачем. Эта Кармен, как выяснилось, любила своего Хосе.

Главное же, во всей неразберихе и бестолочи Эська не могла добиться известий из Одессы: что с папой и Стешей, как они и где, смогли ли эвакуироваться? В эти примерно дни подруга получила от родителей какое-то беспомощное стариковское письмо, добиравшееся три недели, из которого ясно было только, что эвакуироваться из обезумевшего от страха города смогли те, у кого «литер», «бронь», «вызов» или деньги на бешеную взятку, но и это не всех спасало, потому что корабли подрывались на минах чуть не у берега; что Одессу бомбят, а бомбоубежищ не хватает, и пережидать налеты лучше всего в подворотнях; что немцы отрезали водовод из Днестра, воды нет, а жажда страшнее голода. Что многие соседи уже открыто говорят: мол, бояться нечего, немцы только жидов убивают, а людей не трогают.

Мучаясь неизвестностью, отлучаясь от истощенной Леонор только по необходимости, Эська в один из дней встретила в трамвае Мишу Туркиса, администратора филармонии, от которого узнала, что создан штаб фронтовых бригад при ЦДРИ.

— Как раз сейчас формируют коллективы, и вы успеваете, Эсфирь Гавриловна. Только явитесь завтра пораньше, к десяти, я словечко замолвяю, и ваш ансамбль внесут в списки и поставят на довольствие.

Так и завертелось.

Лысая после тифа, слабая и до жути худая Леонор Эсперанса Робледо, потрескивая кастаньетами в поднятых, тонких, будто ивовые прутики, руках, вяло топотала каблуками спадавших с нее концертных туфель по полу коммуналки на Кировской; очередная концертная бригада через неделю выезжала куда-то на Западный фронт.

Программы таких бригад сбивались на скорую руку по принципу сборной солянки: сценки, монологи, цирковые номера, чтецы-декламаторы и певцы с легким оперным и опереточным репертуаром (вот бы где процвел папа с его неумолчным пением). Ну и требования к артистам предъявлялись соответственно обстановке: собранность, мобильность, психическая устойчивость — выступать-то приходилось чуть не на передовой, а уж сценическая площадка подворачивалась всюду: под открытым небом на лесных полянах, на палубах военных кораблей, на аэродромах, в землянках, в медсанбатах и госпиталях.

Для Леонор из костюмерных недр филармонии был извлечен жесткий оранжевый «парик парубка», явно забракованный каким-нибудь танцором ансамбля украинских народных танцев, — другого не нашлось. И — странно, может, из-за парика, — ее густые, каштановые с золотом волосы никак не отрастали; Эська считала, что в ослабленном организме не хватает кальция. Собственно, они так и не успели отрасти, дивные волосы Леонор, но сейчас не об этом речь. Пока же Леонор вообще не снимала с головы дикой цирковой пакли — стеснялась, ненавидела себя лысую. Поэтому до концерта командиры со словами «товарищ Робляда!» (так их языки, привычные к мату, невольно переименовывали иностранную фамилию артистки) обращались к Эське. Жгучие смоляные, с редкой проседью, кольца ее волос наводили на мысль об Испании скорее, чем «парик парубка» самой что ни на есть природной испанки Леонор Эсперансы.

Вот рояль пришлось сменить на аккордеон, это да, и, бывало, кое-кто из бойцов жалостливо предлагал маленькой и хрупкой Эське помощь в растягивании мехов, на что она только усмехалась, по-грузчицки вздергивая плечо с ремнем.

В скудости их театрального реквизита был даже некий стиль: занавес, хлипкий стул для аккордеонистки, лист фанеры для танцующей Леонор.

Иногда автобус или грузовик, привезший артистов в расположение какой-либо части, не доехав, останавливался прямо на дороге, по которой войска перебрасывались к фронту, и тогда спешно выбиралось на обочине место поровнее, раскладывался лист фанеры, артисты пере-

одевались прямо там же, на траве, никого не стесняясь, и все эксцентрико-акробатические номера, все пластические этюды и танцы проходящие мимо бойцы наблюдали искоса, смущенно улыбаясь.

За два месяца, проведенных на Западном и Калининском фронтах, они проехали с бригадой тысячи километров и дали чуть не двести концертов. Всю жизнь потом, оформленная в рамочку под стеклом, на стене у Эськи висела грамота от военного командования: «Музыкально-танцевальному коллективу товарищам Этингер—Робледо за самоотверженную отличную работу на фронте в непосредственной близости от переднего края».

Странно, что больше помнились не дни, а ночи — они часто выступали вечерами и по ночам, в блиндажах, освещенных гильзами от снарядов с торчащими из них тряпками-фитилями.

Помнилось черное прекрасное небо в огненной сетке трассирующих пуль, в россыпи зеленых пугающих звезд.

Небо, обмелевшая к рассвету бездна стыда и нежности — бездна, что единственный раз они вычерпали вавоем.

* * *

Ту последнюю ночь им выпало провести недалеко от Торжка, в здании бывшей школы, переоборудованной под госпиталь.

Концерты в госпиталях считались у артистов фронтовых бригад большой удачей: там можно было вымыться, по-человечески поесть и выспаться в нормальных койках на чистых простынях. И, что ни говорите, — бог с нею, с фронтовой романтикой, — выступать приятней на настоящей сцене в актовом зале, пусть даже весь он плотно заставлен рядами коек, а стоны раненых и бредовая матерщина заглушают ревуший басами аккордеон.

Вечером после концерта персонально для артистов протопили баню во дворе. Тесная банька, втискивались по трое, наскоро намыливались, понимая, что там, снаружи дожидаются своей очереди мужчины. Все равно — блаженство, роскошь, нечаянная радость.

Чуть не всю парную своими грандиозными дрожжевыми телесами заполнила Мария Онищенко, исполнительница романсов. Казалось, вся она обвешана мешками: мешки грудей, мешок живота, туго набитые мешки могучего крупа...

Худенькая и гибкая Леонор огибала Марино с танцевальной ловкостью, как в пасодобле тореадор огибает быка, как узкая фелюка огибает головное судно китобойной флотилии. Эська же скорчилась в углу скамьи — полоскала в поставленной на колени шайке гриву ассирийских кудрей; никогда ничего не могла поделывать со своей несчастной застенчивостью.

— Дай помогу! — сказала Леонор, склонясь над ней. — Закрой глаза.

Подняла шайку с Эскиных колен и, будто всю жизнь мылась исключительно в русских банях, одним махом окатила ей голову водой.

Вытирались и одевались в малюсеньком предбаннике, истомно отдуваясь, задевая друг друга локтями и ягодицами, и Эська норовила побыстрее натянуть кофточку, что застревала и не раскатывалась на влажном теле.

В конце концов Леонор фыркнула, развернула ее лицом к себе и проговорила:

— Эстер! Почему ты забиваешься в угол, как хромя нищенка? Если б у меня была такая великолепная грудь, я б ее предъявляла вместо паспорта!

— Что она говорит? — поинтересовалась раскрасневшаяся, влажная, вся в капельках пота, полуголая Мария. — Почему она сердится?

— Она не сердится, — смутившись, пробормотала Эська.

После ужина пожилая медсестра с усталыми глазами в набрякших веках повела их устраиваться на ночлег. И пока поднимались на второй этаж по широкой школьной лестнице, она виновато повторяла, приваливаясь то спиной, то боком к деревянным перилам, отполированным задницами многих поколений учеников:

— Девочки, дело такое, у нас коечный фонд небольшой, а раненых полно. Вчера привезли два грузовика, позавчера три. А коечный фонд — совсем, совсем небольшой. Ничего, если двое на одну койку лягут?

— Эт за ради бога! — захохотала довольная, все еще красная, как пожар, Мария. Понимала, что к ней никто не попросится. — Кому со мной лечь охота, девочки?

— Просто у нас коечный фонд небольшой, — оправдываясь, повторила медсестра, — а раненых полно, прям катастрофа...

— Что это — «коэчни фонд»? — спросила Леонор.

— Нам придется спать в одной постели.

— Всем?! — в ужасе воскликнула та, и все женщины правильно поняли этот ее возглас и долго смеялись над оторопью бедной танцовщицы, громче всех — добродушная Мария.

...Эта испугавшая, озабившая ее, все в ней перевернувшая ночь стала единственной потаенной драгоценностью, которой она оставалась верна всю жизнь.

Прильнувшее к ней горячее тело Леонор, от которой, вздрогнув, она вначале смятенно отпрянула... и к которой потянулась, едва могучий храп Марии Онищенко сотряс грядку стаканов на подносе. Благословенный храп — он обнес их узкую койку шумовой завесой ночного водопада, отделяя ее и Леонор от всего разом съжившегося мира...

Со временем ее память навела на воспоминания об этой единственной ночи иконографическую резкость: на все непроизносимые касания, жаркий стыд, изумленное счастье, заикающийся шепот на испанском и на русском...

Позже, когда прямоугольник вырезающего окна стал тоскливо подтекать рассветом, остужая их общее сердцебиение и разлучая томительно переплетенные пальцы, Леонор отерла ее слезы ладонью и прошептала:

— Сегодня Великий четверг. Сегодня у нас женщины выходят в кружевных мантильях, в высоких гребнях, все в черном...

Ее дерзкий профиль на подушке, со слабым мальчишеским ежиком надо лбом, казался почти прозрачным на фоне зеленоватого неба в окне.

* * *

Под вечер их доставили на аэродром близ какой-то деревни — к тому времени Эска уже не запомнила названий сел и деревень, номера полков и обозначения родов войск; попробуй упомни все после пяти концертов в день!

Но везде их старались подкормить. Там, в летной части, на краю большой поляны артистов ждал уже накрытый стол — попросту дверь, снятая с петель и уложенная на врытые в землю бревнышки. Тушенка, хлеб, немного спирта и — настоящий сюрприз — только что сваренная, исходящая слезным паром картошка!

То, что летчики — элита армии, заметно было по командирам: она всегда мысленно отмечала это даже не словами, а чувством: с ними хотелось поговорить. В те мучительные дни ее тянуло поговорить с людьми, которых папа когда-то называл «нашим кругом», а она сердилась на его слова и требовала, чтобы он уточнил приметы этого самого «нашего круга». Теперь вот понимала.

И здесь тоже оказался лейтенант — некрасивый, с оттопыренными под фуражкой ушами, с небритым обезьяньим надгубьем, но такими быстрыми и «говорящими» глазами, что все время хотелось на него смотреть, — да он и показался ей ужасно знакомым. Минут пять они коротко поглядывали друг на друга через импровизированный стол

(лейтенант будто ждал, когда она заговорит первой); наконец, он слегка подался к ней и негромко спросил:

— Неужто изменился так, Эсинька?

Выждал две-три секунды, с улыбкой глядя на ее вспыхнувшее неуверенной улыбкой озадаченное лицо, и подсказал:

— Дача на Большом Фонтане. Репетиции «Двенадцатой ночи» в пустом деревянном сарае, а дрова мы выкинули. Я шута играл, потому что умел ушами шевелить. — Снял фуражку с лысеющей головы, приготовившись доказывать примером. Но она уже вскрикнула:

— Миша! Миша Сапожников! Господи, как же я сразу!.. а что?.. но почему же?..

И, волнуясь и заходясь от радостного смеха под взглядом сидящей рядом и ничего не понимающей Леонор, они с Мишей, некогда вихрастым толстым мальчиком, сыном владельца «Коммерческой типографии Б. Сапожникова», на Ришельевской, 28, принялись впереводку перебирать имена, фамилии, чьи-то дурацкие шутки и дурацкие фокусы.

И на его словах:

— ...А что было делать? Я уехал к тетке в Белосток, там принимали... — вдруг забухали, заяаяли неподалеку зенитки, из-за леса взмыли пять легких игрушечных «юнкерсов», на лету роняя козьи орешки. Летчики вскакивали из-за стола и, отрывисто что-то крича, бежали к самолетам.

Земля гулко дрогнула, еще, еще раз, вздыбилась и пошла ухать и корчиться в нутряном подземном и небесном гуле: все слилось — лай зениток, взрывы, стрекот пулеметов...

Один «юнкерс» снизился, на бреющем полете прочесывая из пулемета лес и аэродром.

И все произошло очень быстро, просто и непоправимо. Все заняло две-три минуты.

Леонор схватила ее за руку, и они побежали куда-то к черному лесу на окраине аэродрома, что возникал и снова гас пульсацией вспышек во взрывах снарядов. Они бежали, а картавый гороховый грохот догонял их, расстреливая землю вокруг и выдирая клочья травы с дерном. Вдруг Леонор остановилась, обернулась к Эське, словно забыла сказать что-то важное и вот вспомнила наконец, и непременно сейчас скажет! Яркий свет обезумевших ее зеленых глаз полоснул Эську по сердцу с ночной, разом пыхнувшей силой. Швырнув ее на землю — Эська ударилась головой и спиной, на мгновение даже потеряв сознание, — Леонор упала сверху, прижав ее к влажной дурманной траве неожиданно властным, каким-то мужским телом.

Эська покорно лежала, открыв глаза в бурное небо высоко над плечом Леонор. Небо содрогалось и билось черным звездчатым скатом в сетях летящих снарядов. Никогда больше, даже в дни салютов, она не видала более праздничного, более упойтельного зрелища.

Грохот и трескотня приблизились так, что изрешеченный свинцом воздух стоял вокруг них плотной стеной, изгвазданной зелеными шляпками алмазных звезд. И когда почудилось, что этот живой от движения воздух стал непроницаем, тело Леонор вдруг молча глухо сотряслось и вмиг обмякло и отяжелело. И мгновенно на Эську толчками хлынула горячая и тяжелая влага, как в ваннах на Хаджибейском лимане.

Так они и лежали до конца боя — Эська задышалась под тяжестью Леонор, плаваясь в затекавшем под нее горячем соленом источнике...

Затем ее, окровавленную, вытаскивали из-под мертвой испанки, вцепившейся в Эську мертвой хваткой. Бритая, с распахнутыми зелеными глазами, с откатившимся в траву нелепым «париком парубка», та упорно не желала отпустить своего аккомпаниатора, словно вот сейчас собиралась еще разок исполнить на бис коронный номер их программы, изящный и гордый пасодобль.

С этого дня Эська обрила голову под мальчика — в память о Леонор Эсперансе Робледо; стала курить крепкие папиросы и курила всю долгую жизнь, лишь в глубокой старости, по настоянию внука, сменив их на сигареты.

До конца войны она разъезжала в концертных бригадах, аккомпанируя на аккордеоне артистам цирка, не гнушаясь ничем: эксцентрика, пластические номера, манипуляция.

И тому подобное.

7

Большой Этингер погиб 19 октября 1941 года — через два дня после того, как румынские войска заняли Одессу.

Вообще, к началу оккупации он пребывал в психиатрической лечебнице. И кабы сидел смиренно там, где сидел, ничего бы с ним страшного не случилось: Евгений Александрович Шевалев всю оккупацию прятал от гибели не только больных, но и здоровых евреев под видом сумасшедших, а соседи так привыкли к долгим исчезновениям старика, что никто бы его и не хватился.

Но Большой Этингер, под конец жизни став радостно-беспокойным и деятельно-распорядительным, умудрился бежать из закрытого отделения психушки и сбежал не один, а вместе с другим пленником — кенарем Желтухиным, с которым в последние годы не расставался ни на минуту.

Румыны, получившие Одессу в подарок от Гитлера, были похожи на цыганскую саранчу — ободранные, пыльные, в обмотках и по виду голодные; во всяком случае, когда гостеприимное население выносило им хлеб-соль на вышитых рушниках, они, гогоча, отрывали от караваев и жадно грызли хрустящие корочки.

Всеобщая регистрация евреев была объявлена уже на следующий день, и сразу начались облавы, аресты и грабежи квартир. К голодным румынским патрулям, которые немедленно окрестили «сахарными» (под видом поисков оружия те при обысках всегда прихватывали серебряную сахарницу), с энтузиазмом присоединялись свои местные мародеры — как не попользоваться соседским добром!

Румынский патруль на квартиру Этингеров навел управдом Сергей. Собственно, от квартиры оставались одна только Эскина комната да Стешина антресоль, которая из-за *пониженных нормативов потолка* жилой площадью не считалась; а вот поди ж ты, все обитатели дома да и весь двор с флигелями до сих пор именовали квартиру номер 6 «квартирой Этингеров».

Сергей и не скрывал от Стеши ни действий своих, ни намерений. В первые дни оккупации он вообще чувствовал себя именинником: молдаванка-жена — это был счастливый лотерейный билет. Румыны считали молдаван «своими»: и язык тот же самый, и раса одна, как гордо подчеркивал Сергей — «древнеримская»!

Накануне во дворе он догнал Стешу на крыльце подъезда и сказал в спину упругим веселым голосом:

— Ну что, досиделась у пархатых? От завтра их за мошну-то потрогают! А могла б в прибыли остаться, кабы договорились.

Она помедлила, не оборачиваясь, склонила голову к плечу и в тон ему легко проговорила:

— Да какая там мошна, все в голод пораспродали — жить-то надо было. Так, стаканы-чашки-свечки... У них только одна ценная вещь и осталась. Но секретная, не догадаться.

— Что за вещь? — вскинулся Сергей. У Этингеров он, кажется, все знал — с детства бывал в квартире, топил им печи, видел, что в го-

лодные годы те, как и все, держались на честном слове, спустили на толкучке много добра. Втайне он считал, что у них и правда мало чего сохранилось, но «потрогать» и сам был не прочь, отчего не развлечься; а главное, Стешку проучить. — Интересные дела! Брильянт, что ли?

— Щас, в письменном рапорте доложусь. — Она брезгливо усмехнулась, что всегда его бесило. — А сам хрен найдешь. Но если поможешь, я те ту вещь за так отдам. За благородство.

— Ах, бла-аро-одство, — протянул он. — Я себе думаю! Смотри, не забудь. Сама знаешь: тебе тоже кое-чего побережь стоит. Кое-какую... ценную вещь.

Так что к налету Степа была готова. Патруль с «сопровождавшими» (при румынах крутились три бабы из общежития бывших детдомовок, что на Чкалова: рыбы-прилипалы, плыли вслед новым хахалям, хватая, что приглянулось из мелочовки) Степа встретила в дверях. Стояла в штопаной шерстяной юбке и в потертой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. Истошно кричала:

— Сюда, господа-домнулы дорогие, берите жидовское добро! Вон, на стол все свалила, хватайте! Всю жизнь на них горбатила! Мне самой от проклятых ничего не надо!

— Эт верно, — вдруг подтвердил Сергей. — Степанида — трудовая русская женщина. С детства тут в прислугах.

Стол в Эскиной комнате был завален добром. В этой куче сверкал натертый Стешей до блеска бронзовый канделябр, сахарница, предусмотрительно наполненная сахаром, кое-что из посуды, две фарфоровые прелестницы, деликатной щепотью приподнявшие пышные юбки, шкатулка Доры с какими-то стеклянными, «под брильянты», побрякушками. Но самым изумительным было странное — поверх всего добра — инженерной мысли сооружение, вроде шатра, из каких-то пружин, шнуров и застежек, обшитое голубым атласом небесной красоты.

(Непрошенных гостей сооружение, возможно, и озадачило, возможно, показалось даже несуразным, но мы-то, вхожие некогда в Дорину спальню и наблюдавшие, как Гаврила Оскарович — во фраке и при бабочке, — уперев колено в женину поясницу, тянет шнуры и вяжет узлы на легендарной «трудке», — мы-то сразу узнали голубые латы Орлеанской Девы и можем лишь восхититься отчаянной Степиной предприимчивостью, заставившей случайно не выкинутый анахронизм украсить сей спектакль — то есть честно послужить семье чуть ли не тридцать лет спустя.)

Все было вмиг сметено в большое Этингерово одеяло и завязано в узел.

Пока солдаты рыскали по комнате, распахивая створки пустого буфета, бабы-детдомовки сдергивали с плечиков в шифоньере и бросали на пол какую-то одежду (и правда, бросовую, мысленно восхитился Сергей, — ах, Стешка, ну, постаралась!). А Степа без усталости приговаривала-пристанывала: проклятые, проклятые жида, наконец свое получат, угнетатели!

Соседи вели себя по-разному. Кто в коридоре толпился — поглазеть, что там у Этингеров возьмут, — кто у себя в комнате заперся от греха подальше.

Когда улов был завязан и взвален солдату на спину, второй румын, офицер, заглянул в кухню и мотнул головой в сторону антресоли.

— Спрашивает, что там, — торопливо наугад перевел Сергей.

Он считал себя знатоком румынского: знал с десятков молдавских слов и выражений, самыми убедительными из которых были «ду тэ ам пулэ!» («иди на хуй!») и «ду тэ ин кулэ!» («иди в жопу!»).

Степа махнула рукой:

— Так то ж моя нора. И все в ней, как вот тая моя одежда...

Двумя пальцами грубой рабочей руки приподняла подол старой юбки и брезгливо этак посучила.

Румын скользнул по ней взглядом, уперся в льняную толстую косу на плече и, ухмыльнувшись, вдруг протянул руку и пощупал, словно примеривался — не унести ли и это добро из жидовской квартиры. И несколько долгих мгновений осторожно мямил и гладил мягкую косу, как уважительно мнут в горсти дорогую материю в лавке колониальных товаров, любовался и вправду драгоценным отливом волос: утром — платина, ввечеру — белое золото. Наконец, с сожалением бормотнул что-то и отпустил. И Степа глубоко вздохнула.

* * *

...Но для нее это оказалось лишь передышкой. Ибо в ту минуту, когда румыны с узлом в сопровождении Сергея спустились во двор, из арки навстречу им ввалилась небольшая толпа, которую с улицы загоняли прикладами еще трое румынских солдат с гогочущим офицером. Тот ужасно был весел и, хохоча, все повторял: «Zoo! Zoo!!!» — вытирая умильные слезы.

И было над чем посмеяться: в группе задержанных по необъяснимой ухмылке судьбы оказался низенький человечек с такой же приземистой, как он сам, таксой, мальчик с кроликом в руках и — к онемелому ужасу

Степи, наблюдавшей из окна за уходящим патрулем, — Гаврила Оскарович Этингер собственной персоной, со своим легендарным, таким же поседелым, как хозяин, кенарем, беспокойно скачущим в клетке.

Большой Этингер попал в облаву недалеко от собственного дома, куда вообще-то и направлялся своим машистым, не сминаемым годами шагом, зорко поглядывая по сторонам и, как всегда, тихонько распеваясь.

Октябрьский солнечный день, тихий и неряшливый, заметал по углам багряные листья. Город замер в нерешительности, еще не понимая, чего от румын ждать. Только по Екатерининской прогрехотали один за другим два грузовика с солдатами.

Представительный, с седым горделивым коком надо лбом, в старом своем потертом пальто с бархатным черным воротником старик явно радовался прохладному синему утру; старик Желтухин тоже чувствовал себя недурно.

Повернув к дому, Гаврила Оскарович остановился. На углу странной кучкой теснилась группа людей — принужденно и испуганно. Среди них известными ему оказались офтальмолог Коган со своей любимой таксой, декан музыковедческого отделения консерватории Ольга Абрамовна Тесслер с внуком Эмилем (именно сегодня ему купили обещанного кролика) и, наконец, бледная Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, которую — бог ты мой! — он не видел лет десять, и как же она, бедняжка, сдала!

К Ариадне Арнольдовне он, прочищая горло, и направился, совершенно игнорируя ситуацию. А она, увидев его, не обрадовалась вовсе, а, напротив, побледнела еще сильнее и, не прерывая нервной беседы с офицером, рассматривающим ее абсолютно арийские документы, принялась строить на лице какие-то дикие отгоняющие гримасы, пытаясь не допустить приближения Гаврилы Оскаровича.

Как?! Спустя столько лет она не хочет его видеть?!

— Нади-и-ин, о неуже-е-ели!..

...Так и вышло, что, обернувшись на теноровые рулады и узрев забавного старого еврея с канарейкой, смешливый офицер с воплем: «Zoo!!!» буквально согнулся от хохота пополам и, уже не обращая внимания на пылкую французскую речь Ариадны (бедняжка слышала, что румынский похож на французский и *пришельцы* его якобы понимают), велел загнать без разбора всех этих перепутанных клоунов во двор, который, собственно, и оказался двором Дома Этингера.

Далее все разворачивалось еще быстрее.

Неумная Ариадна Арнольдовна (офицер уже склонялся отпустить ее восвояси) принялась горячо его убеждать, что бедный больной старик совсем безвреден и нуждается в присмотре родственников, и вот как раз, к счастью, его собственный подъезд, так что... видимо, досадила своими приставаниями настолько, что, закатив жовниальные глазки, офицер дал знак солдату прогнать надоедливую каргу. Тот, не рассчитав силы, смахнул старушку в сторону так, что она, не удержавшись на ногах, упала, да еще ударилась головой о водосточную трубу.

Это и послужило сигналом к тому, что впоследствии смешливый румын, в лицах изображая перед товарищами, называл «еврейской оперой». Рассказывая, умирал от хохота и махал руками, умоляя не перебивать, успокоиться, и останавливался, пережидая взрыв гомерического смеха однополчан, и тут же сам сгибался от визгливого бессильного хохота, припоминая, как «артист» величественно поводит рукой, будто настоящий певец.

Словом, когда прозрачная от старости Ариадна медленно, как па-
лый лист, отлетела к водосточной трубе и опустилась на землю, вступил оркестр — неистовой гневной мощью запели медные и духовые:

— Подо-о-онки!!! — в бешенстве загремел Большой Этингер, кинувшись поднимать Ариадну Арнольдовну. — Гну-у-усные подо-о-онки!!!

Он гневно распрямился; его тенор, сохранивший благодаря ежедневным распевкам необычайную молодую силу, взмыл из колодца двора к синему осеннему небу; белоснежный артистический кок возвышался над притихшей толпой. Кенарь Желтухин, всегда подпевавший хозяину, залился одной из самых драгоценных своих арий. В окнах всех выходивших во двор квартир показались ошалелые, озадаченные, заинтригованные, злорадные лица. Так что ложи были полны и блистали.

С румынами тоже произошла некоторая заминка. Они растерялись: никто не ожидал подобных оперных сюрпризов от горстки евреев.

А Большой Этингер лишь разворачивался: наконец-то после долгого перерыва у него появилась публика! Одной рукой нежно прижимая к себе Ариадну Арнольдовну, другой вздымая клетку с кенарем, точно полководческий жезл или бутафорский факел, что освещает путь заблудшим, он с воодушевлением перешел на арию Радамеса:

Сердце полно жаждой мщенья:
всюду слышен стон народа,
он к победе призывает!
Мщенье, мщенье и гибель всем врагам!

Этот неожиданный концерт мог бы длиться и дольше, ибо впечатлительный офицер, вполне вероятно, не чуждый культуре, явно заслушался по-прежнему сильным и свободным тенором старика, да еще в таком необычном сопровождении...

Но один из солдат патруля, крижистый мужичонка с Этингеровым тюком на спине, заскучав, передернул затвор, и кенарь Желтухин — несравненный маэстро, легенда городского фольклора — умолк, снятый метким выстрелом.

Два-три мгновения прерванный Гаврила Оскарович ошеломленно смотрел под ноги, где в разнесенной выстрелом клетке валялась горстка окровавленных перьев.

Наконец, поднял голову, и великолепный его тенор зазвучал с невероятной, последней сокрушительной мощью:

— Уби-и-и-йцы! Кровавые уби-и-и-йцы!!! Невинную пта-а-а-аху загуби-и-и-и!!!

Грянула в оркестре гороховая россыпь барабанов, ухнули литавры.

Солист упал на колени и секунды две-три еще стоял так, напаривая на земле клетку. Затем повалился ничком.

После чего румыны методично и весело перестреляли всю небольшую массовку этого поистине грандиозного спектакля.

Ариадне Арнольдовне фон Шнеллер, как и невинным таксе и кролику, пришлось разделить участь остальных.

В окне второго этажа на раме окна повисла, распятая ужасом, Стеша в грубой своей кацавейке, застегнутой на три матерчатые пуговицы. Она видела всю сцену, она досмотрела все до конца. Спуститься вниз и прибрать тело старика не могла: ей надо было остаться живой, во что бы то ни стало. Не ради себя. Нет! Не ради себя.

Уж это она прекрасно понимала своей *запоздалой* головой.

А Большой Этингер... Что ж, старик свое прожил. Годы его такие, что не обидно.

Белея снежным рассыпчатым коком, он лежал под водосточной трубой голова к голове с прекрасной Ариадной, проникновенной любовью его молодости; лежал, протягивая руку вслед откатившейся клетке с убитым маэстро.

«Ста-аканчики гра-анен-ны-ия упа-али со стола, упали и разби-лись, разбилась жизнь моя...» — как высвистывал незабвенный кенарь Желтухин, и вслед за ним безмятежно напевал Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни.

До Одессы Эська добралась только в конце сорок пятого. Ехала долго, с пересадками (составы шли через пень-колоду, переполненные демобилизованными военными), и сама себе не поверила, когда с чемоданчиком вышла на привокзальную площадь родного города и вдохнула такой знакомый воздух, к которому примешивалось что-то саднящее: запах легкой гари и прибитой дождями мокрой пыли на развалинах распотрошенных войной и людьми домов.

От вокзала села на едва ползущий трамвай, зачем-то вышла на три остановки раньше и пошла пешком, пытаясь унять сердце. Она уже знала, что папы нет, понимала, что, кроме Стеши, встретить и узнать ее некому, значит, и переживать так не стоит. А вот поди ж ты...

Вначале ей показалось, что двор изменился не сильно. Все так же висели чьи-то кальсоны на веревках, ни на сантиметр не сдвинулись ни старинная водяная цистерна, ни платан, ни кусты сирени, нынче уже голые, — все оставалось прежним. Ребятни только прибавилось. У открытых дверей их подъезда стояла белобрысая девочка лет пяти, обнимая белую кошку. Она странно пристально глядела на Эську. В девочке вообще было нечто странное — в кошке тоже. Замедлив шаг, Эська опустила чемодан на ступени. У девочки были разные глаза: один серый, в крапинку, очень какой-то знакомый, другой карий, знакомый тоже. И у кошки-альбиноса (как в кошмарном сне) тоже были разные глаза: один безумный голубой, с вертикальной соринкой черного зрачка, другой — зеленый самоцвет.

— Барышня... — вдруг проговорила девочка хрипло. Стиснула кошку покрепче, повернулась и поскакала по ступеням вверх, крича: — Мама! Мама! Барышня приехала!

В дверях квартиры они и столкнулись. Стеша вскрикнула, всплеснула руками, Эська застонала от радости. Они аккуратно трижды расцеловались и обнялись (Стеша, робея, погладила барышню по колючей мальчишковой голове, не удержавшись от желания приласкать ее, как ребенка). И какое-то время обе никак не могли попасть в тон этой долгожданной встречи. Их разлука вмещала столько боли и новизны для каждой, что еще предстояло привыкнуть и к новизне этой, и к боли и осторожно преодолевать их изо дня в день.

Стеша засуетилась, первым делом бросилась «кормить с дороги» — у нее, как обычно, укрытые подушкой, лежали в миске теплые оладушки. Молниеносно застелила скатерть в Эськиной комнате, расставила тарелки, принесла из кухни заваренный чай...

И не дождавшись, когда барышня проглотит первый кусок, с затаенной гордостью принялась рассказывать, как ей удалось «сохранить обстановку».

Она и правда самоотверженно перетаскивала вещи и оставшуюся мебель Этингеров в эту комнату, едва их уплотняли очередными жильцами. Из столовой полдня, толкая и наваливаясь грудью, отдыхая через каждые два метра, привезла величественный буфет «Нотр-Дам» — с башенками, с ограниченными вертикальными стеклышками в дверцах, с инкрустацией по карнизу: все слоновая кость, с резными гроздьями фруктов и цветов. Из Дориной спальни спасла круглый столик грушевого дерева, изящно присевший, застенчиво казавший из-под бахромчатой скатерти коленки трех полусогнутых ножек.

Из кабинета Гаврилскарыча, взломав ночью уже врезанный новыми жильцами замок, перенесла на спине нотный шкафчик, инкрустированный перламутровыми нотными знаками, и ломберный столик для игры в карты, который в детстве втайне был ее самой любимой вещью в доме.

Столик открывался двумя выдвижными досками, обитыми зеленым сукном веселого травяного оттенка, с ящичками для мела и карт (немедленно воспаряет над ним прозрачный и призрачный старик Моисей Маранц, раскладывающий карты для деберца). Когда игра заканчивалась и гости расходились, для Стеши наступали самые сладостные минуты. Выкуривая сигару, Гаврилскарыч досиживал вечер в своем кресле, а Стеша, набросив на плечи ему, сомлевшему в струях жемчужного дыма, шотландский клетчатый плед, неслышно суетилась рядом: отчищала щеткой пепел с зеленого сукна, протирала тряпкой полированные ножки (медленно, тщательно — чтобы подольше побыть *вдвоём*). Наконец, Большой Этингер поднимался и уходил в спальню к Доре, а Стеша вдвигала доски внутрь столика, и он становился обычным небольшим столом.

Хорошо, что концертное пианино с канделябрами и старый французский гобелен над кроватью (мальчик-разносчик уронил корзину с пирожными, два апаша их едят, мальчик плачет — все на фоне афиши Тулуз-Лотрека) — прикипели к комнате барышни издавна, да и хрен бы она, Стеша, кому позволила даже на них взглянуть.

Да, было тесно! Да, пройти между напольными часами и креслом леда-кантиониста можно было только боком. Но, продолжая жить в сво-

ей каморке на антресоли, Стеша каждое утро и каждый вечер отпирала дверь Эськиной комнаты, свирепо инспектируя — все ли на месте.

Она уплотняла «нашей» мебелью комнату в ожидании барышни. И вот та явилась.

С торжеством был извлечен из-под кровати и явлен пухлый парусиновый саквояж с «венским гардеробом», давно позабытым собственной владелицей. Вот, полюбуйтесь, барышня: ни одной вещи не продала! Все блузки, все юбки-платья, две гладкие картонки устричного цвета со шляпками внутри и даже с длинными булавками, теми, что шляпу прикрепляют к прическе, — вот они! (Сказала «к прическе» и окоротила себя, бросив очередной испуганный взгляд на мальчиковый барышнин затылок.)

В тот момент, когда Стеша суетливо перебирала перед ней полузабытые красоты «венского гардероба», ожидая похвалы и признательности, — и Эська, конечно же, ахала, благодарила, гладила Стешу по круглому плечу, — это «элегантное старье» показалось и трогательным, и смешным, и претенциозным, и грустным... Но недели через две, когда осмотрелась и решительно положила себе «начинать жить», она принялась, усмехаясь, разбирать все эти забытые за годы войны юбки и блузки, примерять и не без удовольствия бросать искоса взгляд на свою фигурку в зеркале — а ведь лет-то тебе сколько, «барышня!» в твои годы бабам случается уже и внуков иметь: выяснилось, что все вещи по-прежнему идеально подходят, все изумительно элегантны, а сшиты так просто на века.

— Полина Эрнестовна — вот кто порадовался бы такой сохранности, — задумчиво проговорила Эська, перебирая аккуратную цветную стопку вещей на кровати.

Стеша немедленно отозвалась на это, что да, порадовалась бы и даже загордилась, кабы не сгнибла вместе с одной своей старой клиенткой.

— Как?! — изумилась Эська. — Да я была уверена, что она умерла себе сто лет назад.

Нет, как оказалось, не сто лет назад, не такая уж, выходит, она была и старая в то золотое время, когда дамы трепетали от одной только возможности заказать наряд у великой Полины Эрнестовны. Вот в войну она да, была-таки уже древней старухой, сидела в инвалидном кресле, не поднимаясь. Но в чуланчике полгода прятала — да вы помните ее! — дочь кардиолога Файнштейна. Красивая девушка, но прихрамывала после полиомиелита. Их-то всех расстреляли, а девушка как-то

вывернулась, спаслась и пришла к Полине Эрнестовне. И жила у той в чуланчике между коробками с пуговицами-нитками-тесьмой, пока соседка не донесла. Ну, само собой, за ними пришли и всех забрали — и девушку, и старуху, и заодно племянника Полины Эрнестовны, который все знал и кормил и тетку, и сиделицу. Старуху поленились тащить с третьего этажа, просто сбросили в пролет лестницы вместе с креслом, и все дела.

Они сидели за ломберным столиком уже второй час, и Стеша подкладывала барышне на тарелку нескончаемые свои оладушки, чай доливала — никак не могла подобраться к рассказу о гибели Гаврилы Оскаровича, сильно трусила.

Наконец, Эська отодвинула тарелку, накрыла своей сильной рукой Стешину наработанную руку и тихо, строго проговорила:

— Папа!

И Стеша обреченно выдохнула, закрыла ладонью глаза и монотонно, в нескольких конспективных предложениях все рассказала, не отнимая от лица мокрой ладони.

Эська, сгорбившись, долго задумчиво курила.

Она очень изменилась: внешне оставаясь такой же хрупкой, внутренне загубела и отяжелела. Могла окатить каскадом крепкой брани. Но главное — ее подвижное тонкое лицо, в котором прежде отражались малейшие порывы настроения, словно бы отвердело, как будто она пришла к некоему определенному понятию о жизни и в коррективах уже не нуждалась.

Наконец, сильно вдавив окурок в блюдечко, так что другим краем оно встало на дыбы, тихо спросила:

— А... Сергей, оправдом? В какой он, говоришь, квартире живет?

И Стеша спокойно отозвалась:

— Не живет уже. Прикончили его.

— Кто? — удивилась Эська, подняв на нее свои глубокие, странно блеснувшие глаза.

Стеша помолчала и так же легко ответила:

— Да кто ж это узнает!

Но уговор-то он выполнил. После того как вывез со двора на подводе тела убитых, постучал в дверь ее каморки и, сильно дыша перегаром в приоткрытую на цепочку щель, спросил:

— Ну?! Я свое соблюл. Давай, выноси ту ценную вещь.

Она молчала и была плохо различима в темноте своей антресоли.

— Чи брехала? — вкрадчиво продолжал он. — Смотри, Степанида, ты меня не крути... Видала, какой с Большим Этингером приключился романс? То-то. Поди вынеси!

Она сказала ему спокойно:

— Ты что, дурак, — прямо здесь, среди дня? Так просто ж ее не унесешь.

— А шо, така тяжелая? — сощурившись, спросил он. — Не крути, говорю! Пусти меня, ну-к!

— Не тяжелая, а заметная, — спокойно отозвалась она, почти невидимая, только лоб блестел от испарины, и запахом ее пахнуло из дверной щели: крахмальным, собоньм-оладушкиным. — Иди, Серега, не дури, я тебя сама навею, ночью. Не ложись. И никому ни слова!

Он усмехнулся, отступил и сказал:

— Навести, навести... Я не ляжу! Я тя давно жду. Много лет тя жду. Обожжу и до ночи...

...Ночью она ладонью толкнула его дверь — та откачнулась, и Стеша просто тихо вошла. Повезло, что семью он отправил к родне в деревню, подале от «всей этой заварухи». Вообще, если не считать смерти старика, ей сегодня страшно везло.

Сергей и правда ждал, хотя света не зажигал — горела только керосиновая лампа. Сидел за столом в сетчатой майке, в синих сатиновых бриджах — накачивался водкой. Удивительно, подумала она с усталым злорадством, до чего же он, при всей наглости, всегда ее робел. Постель тем не менее была подобострастно растелена — и уголок одеяла загнут, во как! Дождался.

«Весть» она завернула в платок, а то б он сразу узнал. В театре, говаривал покойный Гаврилскарыч, любое действие должно быть подготовлено и подогрето фантазией зрителя.

Увидев ее, Сергей вскочил из-за стола, руки протянул — облапить. В полутьме камушками блестели его похабные глазки.

Она грубовато толкнула его обратно на стул, шикнула:

— Да погоди ты! Сначала дело... И не гляди, что это тебе знакомо.

Развернула платок.

— Тю-у-у! — протянул он. — То ж палка Большого Этингера...

— Па-а-алка! — презрительно передразнила она. — Шо ты понимаешь! Во-первых, не «палка», а трость. Главное же, тут балдахин — чуешь, из чего?

— Ну?

— Чистое золото!

Он откинулся, взгляделся в Стешу. Она и сама — статная, со своей не меркнувшей с годами льняной косой вокруг головы — казалась большой тростью с золотым «балдахином».

— Бреши, бреши...

— Говорю тебе, они все свои кольца выплавили, сама к ювелиру Лейзеровичу носила, и он прежний балдахин заменил новым — поди догадайся!

— А ну дай! — Он протянул руку, приподнялся. — Где там проба, гляну...

— Проба?! — Она негодуяще отвела его руку и снова усадила на стул, придавив ладонью сутулое плечо. — Проба — эт зачем? Шоб все соседи, воры и гады навродь тебя, узнали? Сиди, говорю! Это не все... Тут тайник есть. Смотри! Штас удивишья.

С этими словами она деловито и плавно, под взглядом заинтригованного Сергея стала раскручивать «балдахин», который в тусклом свете керосиновой лампы и правда посверкивал убедительно. Знала, выгучила назубок, сколько витков тот крутится в пазах, и еще секунды три, нависая над сидящим Сергеем, крутила и крутила вхолостую — готовилась.

Ей показалось, вся жизнь мелькнула за эти три секунды. «Девочка... нам не нужна прислуга», — сказал высокий красавец в белом кашине. «Мое доброе дитя...» — говорил старик, пряча мятое лицо в ее горячих грудях.

Плавно выхватив львиный клык из полой трости, она мощным коротким взмахом погрузила его в яремную ямку управдома. Тот откинулся, удивился (у него потом, у мертвого, были и впрямь удивленные глаза), схватился обеими руками за позолоченный набалдахник и успел вырвать его из горла, захрипел и повалился на стол грудью, лицом.

Клинок был, конечно, «декорацией и чепухой», как справедливо говаривал Большой Этингер, но только до сегодняшнего вечера. До того момента, пока на своей антресоли Стеша не отладила его на точильном бруске с присущей ей запоздалой тщательностью...

Так же тщательно и споро, как убирала обычно дам, она прибрала все вокруг тела удивленного управдома, вытерла клинок о его бриджи, замыла водкой, обернула трость в тот же платок и ушла.

Впоследствии трость (элегантная вещица) и правда стала всего лишь «палкой» — Стеша превратила ее в швабру, прибив поперечную деревяшку и преспойно надраивая ею полы аж до отъезда в Ерусалим в конце восьмидесятых. Что касается золотого «балдахина» с его опасной начинкой, так он и посейчас, должно быть, сияет рыбкам и медузам где-то на дне — там, в районе Ланжерона...

Они сидели друг против друга третий час, и Стеша все рассказывала и рассказывала, перескакивая с одной знакомой семьи на другую, уточняя подробности гибели или спасения, предательства, мародерства, подлости или самоотверженного безумия спасителей.

Ни словечком не обмолвилась только про то, откуда взялась девочка, которую звала Ирусей. Та время от времени прибегала со двора, тискавая все ту же безответную кошку, вставала столбиком у стола и от-

крывала рот. И Стеша, почти не глядя, брала двумя пальцами воздушную оладушку и отправляла девочке в рот, а та, старательно прожевав, подпрыгивала и бежала играть.

— Стеша, — мягко проговорила Эська, дождавшись, когда девочка с кошкой в объятиях снова ускачет во двор. — Я так тебе благодарна — за все. И за... папу, и что вещи сберегла. За твою великую преданность семье. — Она слотнула, помолчала мгновение и решилась: — Прости, что спрашиваю. И не думай, что осуждаю. Эта вот девочка — она твоя?

— Наша, — скупо отозвалась Стеша.

После чего, глядя глаза в глаза, обстоятельно поклялась барышне жизнью и памятью, что Ируся, как сказал бы сам Гаврилскарыч, *дита Дома Этингефа*. Так и выговорила — с истинно папиной домашней интонацией.

Далее обомлевшей Эське пришлось услышать очередной парафраз библейского сюжета с царем Давидом и пресловутой девицей Ависагой — сюжета, немало кормившего батальон живописцев разных эпох и народов.

Старик, мол, страшно мерз под старость, и она, Стеша... ну, словом, в холодные вечера укладывалась к нему — *погреть папашу*. Короче, берегла его, «как синицу — окунь». А Гаврилскарыч — он, конечно, под конец *головой совсем вознесся в небеса, пел и пел, как ангел...* но клянусь вам, барышня, еще вполне был мужчина.

— Погоди! что же это... — запинаясь, проговорила побледневшая, немало сконфуженная Эська. На миг показалось, что именно эта домашняя новость превратила ее, огрубевшую, сорокапятилетнюю, ничему не удивлявшуюся женщину, в прежнюю застенчивую гимназистку, что застучала отца у чужого подъезда под руку с юной любовницей. — Ты хочешь сказать, что эта вот девочка — моя сестра?

— Или сестра — наверняка не скажу, — так же обстоятельно, без тени смущения отозвалась Стеша, спокойно глядя на барышню. — Тут ведь и Яша побывал.

И вот здесь впервые развернуто — как оперное либретто — прозвучал Стешин рассказ о возвращении Блудного сына.

— Вы, может, не знали, барышня, а сейчас уже и причин никаких нет скрывать: ведь у нас с Яшей была такая красивая молодая любовь! Еще до всего, до всего... И на даче он ко мне каждую ночь бегал. И стихи — это ведь он мне писал, помните: «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать!»

И тогда, в сороковом, пришел ночью... То ли отцова гнева опасался, то ли соседских глаз не хотел. Как в квартиру попал — неизвестно, может, дверь оказалась открытой: молодняк тут до ночи гуляет-шастает. Не исключено, что и ключ у него сохранился, кто знает.

Степа услышала грузные шаги сначала по коридору, затем на деревянной лесенке на антресоль. Отворилась дверь в ее каморку, и, пригибая голову (значит, помнил о низких потолках), вошел кто-то огромный, бородатый... Сначала она страшно перепугалась, чуть не крикнула — подумала: вот заберут ее, и останется Гаврилскарыч один, такой нездоровый, старенький...

Вскочила, как была, в рубашке, простоволосая. А он шагнул к ней, провел по волосам ручищей и шепотом:

— «Их вайс нихьт, вас золь эс бедойтн...» А волосы прежние, моя Лорея...

И она узнала этот гимназический шепот, заскулила и вжалась в него со всей силы.

Короче, ночь Яша провел у нее, и это, барышня, была такая ночь, о какой любая женщина может только мечтать (при этих словах Эська с трудом удержалась, чтоб не поморщиться).

Наутро он выждал у Стеши на антресоли, пока соседи разойдутся, умылся на кухне, одеколоном сбрызнул шеню... Видать, знаете, барышня, все ж таки робел перед встречей с папашей.

И правильно робел: старика чуть удар не хватил. Увидев сына, он поначалу не узнал его, а узнав, первым делом, конечно, запел.

Что там именно пел Гаврила Оскарович, спрашивать у Стеши было бесполезно. Прожив всю жизнь в столь музыкальном доме, со столь музыкально образованными людьми, она хорошо различала только песню кенаря Желтухина; но вот что отлично запомнила: вначале Яков Гаврилыч пытался что-то сказать, старался даже перекричать отца — все бесполезно. Так он тогда, знаете, барышня, взял и тоже запел.

— Кто запел? Яша запел?! — уточнила ошеломленная Эська.

— Ну да, ну да... Хотите — верьте, хотите — не верьте, барышня. А как еще до папаша было докричаться? И вот когда Яков Гаврилыч запел — ох, ну и голосина у него, прям совсем как у Гаврилскарыча! — так тот, знаете, попритих вначале, стал вслушиваться, хотя и отвернулся. Потом, однако, оборотился, простер так руку, ну, вы знаете эти его картинные позы... и опять загремел.

Степа вдруг оживилась и с грустной улыбкой спросила:

— А помните, помните, барышня, как пели они на даче дуэтом: «Однозвучно гремит колокольчик»? Помните, голоса-то их... как две чайки над морем? Так вот, не дай вам боже, барышня, было услышать эти два голоса тогда. А я — слышала... Кровь стыла в жилах! Счастье, что соседей никого дома не оказалось! Очень было все громко. Руками размахивали, Гаврилскарыч, как на похоронах, рубаху на себе порвал, хорошую, почти новую, ни единой штопки на ней. А Яша плакал. И пели оба как оглашенные. Папаша гремел: «Проклина-а-а-аю!!! Проклина-а-аю!!!» А тот: «Оте-е-ея! Ты не знаешь, что пришлось пережи-и-и-ить!»

Так что она голову не прозаклала бы — чья получилась девочка: проклявшего или проклятого. А то, что проклятье отца сработало незамедлительно, тому сама была свидетельницей: Яшу взяли тут же, во дворе — она видела из окна — двое мужчин, таких себе хлюпиков, я вам скажу, барышня. Яков Гаврилыч мог разметать их, как воробьев, да и поминай как звали: до порта рукой подать, прыгнул в любую фелюку — и в Турцию! Но почему-то не разметал. Помолчал так с минутой и будто покорился: опустил голову, достал наган и отдал. И пошел с ними со двора — шли тесно, что три друта...

Эська сидела, собираясь с мыслями. Спросила, как удалось сохранить ребенка от уничтожения и облав. И в ответ услышала, что Степа всегда перед соседями выдавала «беляночку» за дочь одного молдавана, рабочего с завода сельхозмашин Гена на Пересыпи. Тот и в самом деле ходил к ней месяца три, пока не выгнала.

Она не стала уточнять, что все равно прятала удивительно тихую девочку у себя на антресоли вплоть до ночного свидания с Сергеем. Тот единственный ушучил, чья на самом деле Ируся: просто слышал однажды, как во дворе Большой Этингер пропел младенцу: «До-о-очь моя! Последыш моих чре-е-есел!» — сложил два и два, а с приходом румын шантажировал и терзал Степу, пока не получил сполна — и за муки ее, и за страх, и за Ирусю, и за смерть высокого красавца с чуждыми серыми глазами.

Эська молчала, опустив голову. Потом неуверенно глотнула и спросила:

— И все же, Степа: ты ведь не девочка, взрослая женщина. Я-то ничего в этом не понимаю, не привелось. Но разве такое нельзя почувствовать — от кого ребенок? Понимаешь, это... это для меня почему-то важно.

Та выпрямилась на стуле, спокойно взгляделась в осунувшееся лицо барышни.

— Да какая разница! — горячо спросила она с поистине Этингеровым достоинством. — Все одно — хозяйское.

Библейскому эпизоду (Давид с Ависагой) Эська не поверила ни на грош: белобрысенная девочка с разными глазами, прижавшая к груди разноглазую, как в страшном сне, белую кошку, так отрешенно глядела на мир, что причислить ее к Дому Этингера не было никакой возможности.

Поверить пришлось гораздо позже, спустя лет сорок, когда не по климату смуглый и, как говорила воспитательница, «мелкий мальчик» — и вправду миниатюрный, почти как сама Эська, — рожденный Прусиной дочерью Владкой бог знает от какого иностранного студента, на детсадовском утреннике по кивку музработницы открыл свой воробьиный рот и с колокольчиковой нежностью и чеканной чистотой старательно прозвенел подержанной песенкой про срубленную елочку, вышибив слезы на глазах потрясенных родителей младшей группы детского сада.

— Прости меня, Степа, прости! — забормотала Эська в торопливом замешательстве, сама огорчаясь своей бестактностью. — Конечно, Степа, ты права. Ты так много сделала для нашей семьи...

И осеклась, пораженная новой мыслью: да ведь эта женщина, подумала, она и есть *семья*. А кто же еще? Не ты ж, бесплодное чрево, а вот она, она! Именно от нее, уже немолодой и грузной, завился поздний побег, и уже неважно, кто заронил в трубу этой Фамари долгожданное семя.

«Папа, не папа, — мельком подумала она со смиренной усмешкой. — Какая в том беда Дому Этингера!»

А Степа распрямилась и, вздохнув, проговорила:

— Да. Вот еще... — Хотела что-то добавить, но, поколебавшись, просто вышла из комнаты и вернулась: в грубой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. — Вот, — и, тайно торжествуя, поворачивалась к барышне то правым, то левым боком.

— Что ты, Степа? — недоуменно и ласково спросила Эська, мельком подумав, что эта женщина, выросшая в их семье, почему-то всегда умудрялась одеться самым нелепым образом.

А Степа достала из портновской шкатулки ножнички и аккуратно и неторопливо, слегка наклоняя грудь над столом, взрезала перед недоумевающей барышней материю на пуговицах. На стол выкатились

три знаменитых Дориных кольца, легко прихлопнутые грубой Степиной ладонью: одно обручальное, все в мелких, но чистых бриллиантах, второе — с тремя небольшими изумрудами на золотых лепестках и третье — с невероятно крупной розовой жемчужиной; те самые кольца, которым Большой Этингер прочил когда-то большую искупительную судьбу.

— Боже... — выдохнула Эська и вскочила. — Родная моя! Как же ты... Как же вы тут... все это время — голод, война... Родная моя, милая моя!

И тут обе разрыдались, повисли друг на друге, стискивая одна другую тяжелой хваткой, раскачиваясь и воя в два низких бабьих голоса.

* * *

Вот, пожалуй, и все — на данную страницу.

Впрочем... Тут следовало бы добавить, что *последний по времени Этингер* — тот эксцентричный и нагловатый Этингер, которого даже его кроткая бабка в минуты гнева называла «выблядком» или «мамзетром» (что, собственно, одно и то же), переодеваясь в своих опаснейших одиссеях, щедро использовал... даже не так: азартно и с присущим ему жестоким юморком *преображался, проживая характеры* ближних и далеких особей своего семейства, да и не семейства тоже. (К чему, например, терзать дух давно умершей героической старушки Ариадны Арнольдовны фон Шнеллер, вызывать ее аристократическое имя из небытия — и не просто вызывать, а присобачивать к паспорту, одной из тех фальшивых корочек, что пачками фабрикует какой-нибудь виртуоз из соответствующего отдела соответствующей легендарной организации?)

Но может быть, причудливая страсть этого типа — преобразаться в давно ушедших родичей — есть всего лишь трогательное стремление окружить себя неким эфемерным подобием большой семьи?

Вот один из парадоксов этой путаной истории: мы всё о «клане» да о «Доме Этингера»... В воображении читателя наверняка уж возникла величественная картина: седобородый патриарх, прародитель двенадцати колен, окруженный шумящей армией потомков. Между тем род Этингеров всегда — вы слышите? — всегда, как нитевидный пульс больного, держался на единственном отпрыске, единственной надежде не пропасть, не захиреть окончательно.словно некая нерадивая Парка, клюющая носом над пряжей, вдруг спохватится да и вытянет торопливым крючком едва не упущенную единственную тонкую петлю очередного поколения.

«Всегда на сопле висел», — утверждал *последний по времени Этингер*, субъект, мягко говоря, не сентиментальный.

Ну что ж — в конце-то концов все они существовали, все наполняли смыслом своих жизней имя рода, все подтверждали ту изначальную истину, что мы зависим от предков, от кровных, пусть даже и мимолетних связей, что все мы — хранилища жестов, ужимок, пристрастий, телесных примет своих пращуров. Что мы всего только слабые существа, несущие в жилах ток горячей незащитной крови.

...Но и этот артист, этот лихой человек мысленно частенько именовал — с издевкой, а то и с ожесточением — свое нелепое и жидкое, как пустой суп, семейство точно так, как давным-давно напыщенно и веле-речиво назвал его еще старый николаевский солдат: «Дом Этингера».